Анна Исакова

МОЙ ИЗРАИЛЬ

ЧЕЙСОВСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

После трех лет отказничества и борьбы с советской властью, добившись в 1971 году разрешения на выезд, автор не могла не считать Израиль своим. Однако старожилы и уроженцы страны полагали, что государство принадлежит только им, принимавшим непосредственное участие в его созидании. Новоприбывшим оставляли право восхищаться достижениями и боготворить уже отмеченных героев, не прикасаясь ни к чему критической мыслью. В этой книге Анна Исакова нарушает запрет, но делает это не с целью ниспровержения «идолов», а исключительно из желания поделиться собственными впечатлениями. Она работала врачом в самых престижных медицинских заведениях страны. Стала основательницей и редактором журнала «Окна» (приложения к газете «Вести»), писала на иврите, английском и русском почти для всех израильских СМИ, включая газеты, журналы, альманахи, радио и телевидение. В 1999 году Анну Исакову назначили советником по интеграции при премьер-министре Израиля Эхуде Бараке, и она несколько по-иному, чем рядовые граждане или журналисты, увидела страну и ее людей. На основе всего этого жизненного опыта написаны предлагаемые статьи, первоначально печатавшиеся в журнале «Лехаим». Ее рассказы на русском языке были опубликованы в журналах «Звезда» и «Нева», а один из романов под названием «Ах, эта черная луна!» вышел в издательстве «Время».

- Анна Исакова
  - Потухший костер
  - Забытые боги
  - Летопись патриарха
  - Мужчина в доме
  - По системе Станиславского
  - Торт с вишнями
  - Тетя Фрида, Бродский и Леонард Коэн
  - Голубой клавир
  - О деловом Дон Кихоте и природе «базза»
  - Террорист печального образа
  - Проблемы (зоргн) языка идиш
  - Идиш в стране предков
  - Другой
  - Червячок Шамир и израильское правосудие
  - Третье-Исайя
  - Сдвиг по фазе, или Мишель Пфайффер против «Садов

Сахарова»
- Еврейский Камелот
-

Анна Исакова
Мой Израиль
Цикл эссе

Потухший костер

R. невысок ростом, легок в движениях, несмотря на годы, и подозрительно вербален. Трудно поверить, что он не упражнялся всю жизнь в писательском ремесле. Но говорит, что чист перед Богом, людьми и Министерством иностранных дел, в котором провел большую часть жизни. Не писал и не печатался. Я знаю, что это неправда, но разговора о выпущенной им в 1984 году книге не завожу. У человека есть право на секреты Полишинеля и иные капризы.

Познакомились мы в конце восьмидесятых по его инициативе. С какой стати ему это понадобилось — не знаю. Я тогда напечатала скандальную статью в журнале «Алпаим», в редколлегии которого он состоял, что я выяснила, кстати, много позже. После того меня стали приглашать в разные незнакомые компании местных распорядителей культуры. Чувствовалось, что опекают перспективный кадр и оберегают его от идеологических ошибок и чуждых влияний. Получил ли R. партийное распоряжение на мой счет или действовал самостоятельно, я выяснять не стала.

Впрочем, с точки зрения людей из компании R., речь, скорее всего, шла не о вербовке, а о дружеской помощи заблудившейся в лесу. И это такая же правда, как и та, какую подсказывал мне мой советский жизненный опыт. Я думаю, R. искренне обиделся бы, узнав, что в узком домашнем кругу мы называли его «политруком». Но с момента бегства из СССР агенты влияния мирового социализма мерещились нам во всех людях, облеченных государственной властью. И мы их сильно недолюбливали.

А гнев на милость я, помнится, сменила, когда выяснилось, что R. близко знаком с Исайей Берлиным, интеллектуальным кумиром моего поколения. Единицы читали его труды, но тысячи поклонялись Берлину, представленному нам Анной Ахматовой. Такой рекомендации было достаточно. А когда оказалось, что мой собеседник еще и вхож в личные апартаменты лорда Ротшильда, его явная принадлежность к мировому социализму перестала играть роль. Любопытство победило. И мы подружились домами.

У этого события было важное следствие — я узнала Бину, жену R., а в ней и через нее — урожденную израильтянку поколения основателей государства. Любую, каждую, всякую. В Бине они соединились. Она умела командовать армией прислуги, но могла и вымыть полы собственноручно, залихватски подоткнув подол за поясок юбки. Была она широка, но двигалась легко. Красота походки ценилась в старые времена, а вырабатывали ее

палестинские девицы по старым рецептам: ношением корзин и кувшинов на голове. Так наставляла меня Бина.

Помимо науки ношения корзин и кувшинов на гордо поднятой голове, что заставляло ступни ног вытанцовывать грациозно и призывно, Бина обучалась литературе, математике и языкам в реальном училище, знаменитом на всю страну. Все выпускницы и выпускники этого учебного заведения до сих пор поддерживают между собой связь и стремятся все друг о друге знать, чтобы перемывать друг дружке косточки с полным знанием предмета. А вы и представления не имеете, какие люди вышли из этого училища! Министры, военачальники, литературные знаменитости, видные государственные мужи и жены этих мужей, все еще называющие друг друга школьными прозвищами.

У Бины была непонятная мне власть над бывшими соученицами. Она как была, так и осталась авторитетом. Возможно, потому, что точно знает, какой кондитер трех основных городов Израиля славен каким видом торта, в какой прачечной лучше всего крахмалят кружевные изделия, у кого шила платья Голда Меир, в каком году случилось то или иное событие израильской жизни, машину какой марки имеет смысл купить в текущем году, каковы культурные новости Парижа и Нью-Йорка и где именно должен поскользнуться молодой и нахальный член кнессета на пути к высоким должностям. Что подтверждает: ее школьный авторитет не был построен на слухах и домыслах.

И вот как-то я получаю приглашение на «костер у Амита» в День независимости. Попасть на эту самую знаменитую закрытую тусовку страны я даже не мечтала. Да и о том, что собой представляет явление под названием «Меир Амит», знала в момент получения приглашения не так уж много. К приглашению и чертежу, указывающему, как лучше доехать, была приложена записка: «И просим принести с собой две бутылки водки».

Я была уверена, что Бина имеет к этому приглашению непосредственное отношение. Поэтому совсем не удивилась, когда накануне события по телефону раздался бархатный баритон R., интересовавшегося, не нужно ли довезти нас до места. «На карте могут быть неточности, — сострил он, — эти ребята любят запутывать следы». Между тем я не сообщала о приглашении ни ему, ни Бине. Впрочем, R. тоже из «этих ребят», от которых у рядового гражданина страны и мира секретов быть не может.

Но вернемся к Меиру Амиту, уже, к сожалению, покойному. Когда состоялся «костер», о котором идет речь, он был, можно сказать, не у дел, рассорившись почти со всей тогдашней политической элитой в целом и оставшись с каждым в

отдельности в наилучших и доверительнейших отношениях. Родился он в 1921 году в Тверии. Звали его тогда Меир Слуцкий. И был он двоюродным братом будущего поэта Бориса Слуцкого, родившегося в городе Славянске двумя годами раньше. Есть все основания считать, что кузены знали о существовании друг друга и обоим от этого бывало неудобно.

Покинув Тверию, Меир недолгое время пробыл в кибуце в Галилее, затем посещал тель-авивскую школу «Бальфур», но уже в пятнадцать лет сменил фамилию на Амит, записался в «Хагану», предшественницу Армии обороны Израиля, и стал «нотером», что переводится как «полицейский» или «страж». Так называли евреев, появившихся в 1936 году в британской мандатной полиции для защиты еврейского населения от арабских бесчинств и погромов. По сути, «нотрим» были теми, кого в фильмах об американском Диком Западе называют «рейнджерами».

«Нотрим» не только охраняли еврейские поселения. Они их создавали в рамках кампании «хома у-мигдаль» («забор и вышка»), когда в полном соответствии с мандатным законодательством за одну ночь строились вышка и вокруг нее забор, что сразу превращало это прежде не заселенное пространство в еврейское поселение. Затем «нотрим» защищали эти поселения от нападений арабов. А тем временем пространство внутри забора заполнялось палатками и времянками.

Таких поселений было создано 53, и столь большое их количество помогло в переговорах с ООН относительно создания еврейского государства. По официальной статистике всего в Палестине было то ли 600, то ли 4000 «нотрим» — число зависит от находчивости еврейских «рейнджеров». Один «нотер» мог выдать себя за целый полк, тогда как полк вполне мог уместиться в одном официальном удостоверении за всеми печатями, да еще выданном на несуществующую фамилию. Надо думать, что Амит был не последним в списках этого героического племени, поскольку немедленно с созданием государства и превращением добровольческой «Хаганы» в регулярную армию его назначили командовать батальоном. Было ему тогда 26 лет.

Рассказывают, что примерно в то же время шальная пуля отлетела от металлического портсигара в его нагрудном кармане, что спасло будущему генералу жизнь. Позже он все же был тяжело ранен, но уже в 1949 году вернулся в строй, получил назад свой батальон и взял с ним Эйлат. В 1950 году Амит становится командиром бригады «Голани», и его бригада в четырехдневной схватке побеждает сирийцев под Тель-Мутиллой. Амита обвинили в излишней рискованности операции, но

проверяющий Моше Даян обвинения отмел. Началась ли многолетняя тесная связь между Амитом и Даяном тогда или раньше, сказать трудно. В то время подобные истории еще не расследовались ни СМИ, ни армейской прокуратурой.

В 1956 году Амит становится правой рукой Даяна. Во время Синайской кампании Даян оставляет его в штабе, а сам едет на линию фронта. Амит планирует операции, согласовывает позиции, принимает решения и, в сущности, руководит кампанией. Многие историки считают, что успехи ЦАХАЛа в той войне должны быть переписаны с Даяна на Амита. Но Амит никогда этого не требовал и остался любимцем и правой рукой мятежного гения израильских войн в черной наглазной повязке.

Однако в 1958 году всем казалось, что Амит кончает счеты если не с жизнью, то с армией. После тяжелой катастрофы во время парашютных учений он 18 месяцев борется со смертью и инвалидностью. Несколько поправившись, уезжает в США, где получает ученую степень по экономике в Колумбийском университете. А вернувшись, становится главой армейской разведки. Армейская разведка тогда всячески противопоставляла себя «Моссаду», и наоборот. Никакого взаимодействия между этими службами не было. По этой причине Амит беспрестанно и весьма агрессивно нападал на руководителя израильской внешней разведки, знаменитого Иссера Харэля, поймавшего Эйхмана.

В конечном счете Бен-Гурион отстранил Харэля от руководства и назначил на его место Амита. Из-за столь экстренной процедуры Амиту пришлось в течение девяти месяцев руководить как армейской разведкой, так и «Моссадом». Такого не было в истории Израиля ни раньше, ни потом, но именно этот период сдвоенных функций и почти круглосуточных бдений облегчил Амиту задачу замены старых кадров новыми. Полагают, что за упомянутый период нашему герою удалось инфильтрировать «Моссад» кадрами из армейской разведки, поменяв почти на две трети весь состав.

В новой должности Меиру Амиту удалось много невероятного. Считается, что именно он превратил «Моссад» в то таинственное и уважаемое во всем мире учреждение, каким он является сейчас. Ввел американскую систему двойного и тройного контроля и подчинения вместо дружески-компанейской расхлябанности прежнего правления. Внедрил компьютеризацию. Прекратил многолетнюю вражду между «Моссадом» и армейской разведкой. Наладил тесные связи с основными разведками западного мира. И не только западного.

Опасные игры велись, например, с лидером курдов Баразани.

Какие-то шуры-муры происходили и в других направлениях, что привело к скандалу с убийством в 1965 году марокканского оппозиционера Бен Барки. История эта, надо думать, инспирировала не один детективный роман. Бен Барку выманили из Швейцарии во Францию, потом отвезли в имение французского гангстера, где убили и закопали. Данные о преступлении все же просочились. Де Голль орал на тогдашнего премьер-министра Израиля Эшколя, Эшколь — на Амита. Амит не остался в долгу. Он обещал, что уйдет с поста, только захватив с собой Эшколя, который эту операцию санкционировал. И заодно предсказывал большие неприятности всем, кто под него копает, тогда как будет совсем нетрудно доказать, что «Моссад» не имел никакого отношения непосредственно к убийству. Он только снабдил «кого надо» «чем надо».

Дело замяли. А Амит отправился с поручением в Вашингтон. Происходило это перед самой войной 1967 года. Там он встретился с Макнамарой и попросил о трех «мелочах»: а) обеспечить защиту в ООН, б) нейтрализовать СССР, в) восполнить боеприпасы после войны. Еще Амит обещал, что война продлится не больше недели и человеческие жертвы будут сравнительно невелики. «Я хорошо вас слушал и слышал», — кивнул Макнамара. Амит вернулся в Израиль и заявил, что у США не будет возражений, если Израиль начнет превентивную войну. Это мнение было диаметрально противоположным донесению министра иностранных дел Абы Эвена. Амит заставил правительство принять его точку зрения, и, как он сам заявлял интервьюерам, «война была закончена не за шесть дней, а за первые три часа».

Дело в том, что под руководством Амита «Моссад» сосредоточил все усилия на получении разведданных, необходимых армии. В результате в первые же часы войны израильская авиация точно и аккуратно уничтожила всю вражескую авиацию до последнего самолета. Разбомбила ее на земле, прежде чем хоть один самолет успел взлететь, поскольку точно знала местоположение каждого самолета противника. Дальнейшее было, можно сказать, не войной, а зачисткой.

А годом раньше Амит преподнес западным коллегам невероятный подарок, закрывший вопрос о неприятностях с Бен Баркой. Ему удалось уговорить иракского пилота-маронита бежать в Израиль на новом тогда советском самолете «МиГ-21». Пилот был отпущен с миром, а новейший советский самолет, угрожавший Западу, был предоставлен специалистам для изучения.

Как именно удалось соблазнить иракского летчика рискнуть

— этот вопрос интересует историков до сих пор. Никто не забывает, что именно Амит придумал название «медовая мышеловка» для тактики использования сексапильных сотрудниц в целях оптимизации работы вверенного ему учреждения. Еще сплетничают, что Меир Слуцкий-Амит и сам умело обращался с женщинами, но это — домыслы. В те далекие времена мужская сексапильность считалась частью харизмы, а не нравственной распущенностью. Которой генерал Амит, упаси Боже, не страдал.

Список приключений Меира Амита долог. Из «Моссада» он ушел в политику, создавал и распускал партию, покидал социализм и возвращался к нему, был министром, потом — главой одного из самых успешных израильских промышленных концернов и т. д. и т. п. Было нечто невероятное в том, что я могу запросто войти в сонм его друзей, приятелей и уважаемых недругов, то есть всех тех, кто хоть что-то значит в этой стране. Я мысленно сняла шляпу перед Биной, а при личной встрече у ворот заветного дома, вернее, двора произвела этот жест, так сказать, фигурально.

Еще вернее, фигурно, сняв несуществующую шляпу. Бина в ответ только похлопала меня по тыльной стороне ладони. Затем, повернув моего спутника вокруг его оси, подхватила его левой рукой, просунула правую под мой левый локоть, и мы поплыли по длинной гравийной дорожке. Вдруг я резко остановилась, из-за чего мои спутники чуть не упали, поскольку мы были связаны сплетеньем рук. Они были недовольны мной, а я не могла отвести глаз от происходящего слева. Там, на скрещении дорожек, нежно чмокались вечные и яростные политические противники: левосмотрящая Шуламит Алони и правокосящий Рехавам Ганди. «Они целуются!» — воскликнула я. «Подумаешь! — пробормотала Бина. — Они же знакомы не первый день!»

С картины обыденного, можно даже сказать, рабочего поцелуя людей, олицетворявших для меня враждебные станы израильской политики, началось светопреставление. По дорожкам брели под руку люди, которые не должны были даже находиться рядом в кадре телехроники. Они перекрикивались, сталкивались, хохотали и вообще вели себя как школьники на переменке. Через час-два я плюхнулась без сил на скамейку, и никакие политические силы не могли бы меня с нее поднять. Напротив кинопроектор кидал на торец свежевыбеленной стены подрагивающие блики, складывавшиеся в нечетко различимые лица на фоне мерцающего кинокостра.

Во время нашего скитания по дорожкам мы набрели и на настоящий костер, вокруг которого сидели пожилые мужчины в костюмных двойках с оттянутыми книзу узлами галстуков и

прыгали дети. Время от времени один из мужчин шевелил палкой угли или читал стихотворение, очевидно известное и всем остальным. Несколько юнцов болтали на отшибе. Дети кидали в костер камешки. Кинокостер нравился мне больше. Бина лениво перечисляла имена тех, кто появлялся на стене. Скорее всего, среди них были и те, кто бродил по дорожкам или сидел вокруг «живого» костра. В кинокостерной проекции все они были молоды, растерянны и нахальны. Бина знала их с детства или с ранней юности и снабжала каждую смену кадра анекдотом из той, прежней жизни, лениво проталкивая слова сквозь пелену усталой дремоты. Так я выяснила, например, что хозяин тусовки, боевой генерал Амит, по меньшей мере трижды за жизнь спасавший Израиль, собирает куколок в национальной одежде, коих имеет уже больше тысячи.

— Не наигрался в детстве, — резюмировала Бина. — Тут большинство играет в игрушки. Кто в куклы, кто в солдатики. А этот, — выкрикнула она вдруг, уперев вытянутую руку в чубатый образ на стене, — писал замечательные стихи!

— А сейчас не пишет?

— Погиб, — произнесла Бина мрачно. — Только и он стал бы генералом и членом кнессета, а не поэтом, — добавила, снова впадая в полусонное и умиротворенное состояние. — Ты же сама слышала — из всех тут присутствующих ни один не хотел стать генералом или политиком. Пришлось.

А до того, как мы плюхнулись в изнеможении на скамейку под деревом, Бина водила нас по тропинкам большого двора, по которым гуляли шеренгами, парами и гурьбой компании пожилых мужчин в элегантных костюмах. Большинство были знакомы с Биной и кланялись. Она же представляла их нам весьма забавно. Например, так: «Это Иче. Он учился в „Реали“, но не доучился. А жаль, мог преподавать математику. Был послом в… — назывались весьма значимые страны мирового содружества. — А до того… О-го-го!.. Однажды его вывозили из нашего посольства в багажнике машины американского военного атташе».

Любезнейший Икс, похожий манерами на румынского актера времен немого кино, процитировал что-то по-русски из «Онегина» и исчез, послав нам из-под фигурных усиков целую охапку воздушных поцелуев с запахом одеколона «Олд спайс». Бина величаво кивнула. «Всегда был джокер, — пробормотала ему вслед. — Но талантлив. Руководит банком, им довольны. Кто бы мог подумать?» Следующий Икс оказывался боевым генералом в отставке или главой целой отрасли промышленности. Но по Бине, не заставь их нужда стать генералами, банкирами или

государственными деятелями, из всех мог получиться толк. Они могли стать неплохими живописцами или очеркистами. Прозаиками. Пианистами. Артистами или историками.

— Послушай, — спросила я Бину, — а почему это все хотели быть не теми, кем стали?

— Наверное, потому, что стали не теми, кем хотели, — лениво отозвалась Бина. — Время было такое. Нужно было строить страну. И защищать.

В этот момент появился R. Он не был на тусовке с самого ее начала, а подошел позже.

— Дела, — развел руками, — дела! Говорили ли вы с хозяином?

Мы переглянулись. Бина растерянно провела рукой по лбу.

— Забыла, — вздохнула она.

— Можно пожать руку и на выходе, — согласился R. — А насчет того, что все они стали не теми, кем хотели, это, конечно, неправда. Ну, представь себе: тебе двадцать три года, ты командуешь полком или батальоном и строишь государство, а все евреи мира от самых ничтожных до самых знаменитых поклоняются тебе, потому что ты строишь и их государство тоже. При этом ты командуешь ими, а не они тобой. Из этого нельзя выйти, как из наскучившей роли. Кстати, ты знаешь стихи поэта Бориса Слуцкого? Вспомни, пожалуйста. Тебя могут об этом спросить.

Забытые боги

Больница имени Шибы кишит народом. Это одна из самых больших и знаменитых больниц Израиля. Ее центральная многоэтажка почти не видна под грудой других зданий, расположившихся в полном беспорядке на сравнительно небольшой площади. Гранитные холлы многоэтажки громадны и неприветливы. Многочисленные лестницы бегут вверх и ведут вниз, материализуя сон Тевье-молочника. Лифты, простые, грузовые, шикарные и раздолбанные, несутся бесшумно или погромыхивая, спрятанные в стены или открытые взгляду невнимательного наблюдателя. А он, наблюдатель, тоже вынужден торопиться или делать вид, что торопится. Такая тут атмосфера.

Люди — персонал и больные тоже — не ходят, а носятся, расталкивая окружающих. Торгуют многочисленные кафе и лавочки. Толкотня в них, толкотня вокруг них, толкотня в коридорах, толкотня повсюду. И никто не может ответить на простой вопрос: кем был этот Шиба? Ну, тот, именем которого названа больница.

В рентгеновском отсеке сохранился небольшого размера портретик длинноносого тощего мужчины с редкими волосами и хитрыми глазами. Большой палец одной руки зажат в кулаке другой. Двенадцать опрошенных в белых, зеленых и голубоватых халатах один за другим совершенно одинаковым пожатием плеч дали понять, что мой вопрос глуп, неуместен. Ну, висит портретик. И что? Кто на нем? А кто его знает! Вам-то зачем это нужно знать?

Между тем, когда в марте 1972 года я впервые пришла в ту же больницу, которая называлась тогда просто «Тель-а-Шомер», человека на портрете не просто узнавали. Каждый встречный его оплакивал. Он ушел совсем недавно, в июле 1971-го, от сердечного приступа. Рассказывали, что, когда прихватывало сердце, прикрывал большой палец одной руки ладонью другой, как на фотографии в рентгеновском отделении. Тогда замирал говорок в палате, на заседании, в конференц-зале, и десятки или сотни влюбленных глаз напряженно следили за движениями ладоней. Они размыкались, и по помещению проносился вздох облегчения. Пронесло! Операций на сердечных сосудах тогда еще в Израиле не делали.

Хаим Шибер родился в 1908 году на Буковине, принадлежавшей Австро-Венгрии. Он был потомком знаменитой Ружинской хасидской династии, учился, как полагалось, в ешиве,

но без труда сумел сдать экзамены за восьмой класс гимназии. С отличием ее окончив, молодой человек поступил на медфак, сначала в Черновцах, потом в Вене. Завершив медицинское образование в 1932 году, Хаим Шибер едет в Палестину.

То, что было потом, энциклопедия сжимает в один параграф: до 1936 года работал деревенским врачом, затем был принят в больницу «Бейлинсон». В 1942-м присоединился к «Бригаде», в 1947-м — к «Хагане». С 1948 по 1950 год был главвоенврачом ЦАХАЛа, потом стал директором Министерства здравоохранения, а в 1953 году ушел в «Тель-а-Шомер», став главврачом и оставив за собой должность завотделением. Одновременно являлся профессором Иерусалимского университета и содействовал открытию медфака в Тель-Авивском университете. В 1968 году получил Государственную премию Израиля за вклад в медицину. Все.

Больничная мифология с фактами не спорит. Она их поворачивает в правильном с ее точки зрения ракурсе. И я, попав в «Тель-а-Шомер», немедленно погрузилась с головой в этот поток сказаний. Меня приняли в бывшее отделение Шибы, поселили в его бывшем кабинете и разрешили рыться в книжном шкафу и письменном столе покойного, но с условием: возвращать каждую вещь ровно на то место, где она лежала.

Кабинет Шибы был мал и тесен. Кроме шкафа, набитого книгами и бумагами, в комнатке помещались стол со стулом и ветхий диванчик на трех ножках и двух кирпичиках. К кабинету прилегала лаборатория, в которой Шиба искал сам и заставлял молодых врачей искать под микроскопом живых амеб. Именно живых, потому что исключительно такие могли быть признаком болезни. А живыми их можно было увидеть только в особом приспособлении, которое согревало эти противные создания до температуры человеческого тела. Мертвая амеба не оживает при тридцати шести и шести градусах, а живая начинает трепыхаться. Откуда Шиба привез это приспособление, не знаю. Может, сам его и выдумал. Рассказывали, что он знал повадки амебы, как никто.

Невыносимая лабораторная вонь въелась в стены и мебель моего кабинета. Держать окно закрытым было бы глупо, если бы не коза. Она паслась под окном и любила заглядывать внутрь, лениво при этом бодая подоконник, под которым — с моей стороны — стоял письменный стол. Рядом с козой пасся бедуинский мальчик. Если окно было открыто, он часами сидел на подоконнике задом ко мне, все время норовя что-нибудь утащить: то ручку, то мои бутерброды. Вел ли он себя так с Шибой, сказать не могу.

Дуби Шабатон, старший врач отделения, по-детски

влюбленный в Шибу и в память о нем, был приставлен следить за тем, чтобы я чего-нибудь не натворила, на врачей из СССР тут не полагались. Он и рассказал мне, откуда взялась коза. Когда была «цэна», то есть еду давали по карточкам, больные голодали. Шиба пошел к бедуинам, которых знал издавна, и предложил им пасти коз на больничной траве, которую все равно некому было косить. Но за пользование пастбищем бедуины должны были поставлять молоко, которым больница выпаивала дистрофиков.

А когда еды стало хватать, персонал потребовал убрать из больницы коз. Их стало слишком много, они бродили по дорожкам и мешали. Шиба снова пошел к бедуинским старейшинам, и им удалось договориться. В больнице оставили одну козу и при ней пастушка, которому Шиба платил за молоко ту же сумму, что и раньше, но из собственного кармана, и израильскими, а не иорданскими лирами. И наступил мир.

Я спросила, почему бедуинов просто не прогнали. «Нельзя так поступать с теми, кто оказал помощь», — произнес Дуби важно, явно цитируя своего учителя Шибу, каждое слово которого считал истиной в последней инстанции. Но в истории с конгрессом Дуби все же участвовал. Не помню, кто рассказал мне эту историю, он или кто-нибудь другой. Все тогда рассказывали друг другу о Шибе. Как он приходил по пятницам и субботам с пакетом под мышкой, а в пакете — шприцы, перчатки, еще что-то. Обходил больницу, отделение за отделением.

Одним ставил инфузию, другим вскрывал гнойники, третьим давал конфетку. Некоторых расспрашивал, иных выслушивал — необязательно стетоскопом. Просто слушал про домашние беды, сердечные дела, застарелую душевную боль. И рисовал на их лбах звезды Давида. Зеленкой, генцианвиолетом, чем-то красным. Обещал, что эти знаки спасут от болезни. Звезды Давида во лбах у старушек я видела своими глазами. И не дай Бог, если их кто-нибудь стирал. Старушки рыдали, и приходилось рисовать магендавиды заново. А в моем кабинете висел снимок самого Бен-Гуриона с нарисованным магендавидом на лысине. Рассказывали, что когда-то Шиба и Старик дружили, но потом поссорились. Только других врачей Бен-Гурион признавать не хотел.

Однако вернемся к истории с конгрессом. Тальма была любимой ученицей Шибы. А самой красивой была Наоми. Самым умным — Мотке. Самым благородным — Ури. А самым непутевым — парень, имя которого я забыла. Шиба привез его из Южной Африки и сделал человеком и врачом. Потом родители захотели заполучить непутевого назад в Южную Африку и посулили ему аэроплан. Он соблазнился, улетел к родителям и бурам, но разбился во время первого же полета на собственном

самолете. И Шиба повесил его портрет в коридоре в назидание всем возможным перебежчикам из сионизма в легкую жизнь. Но во время истории с конгрессом непутевый был еще в отделении, и он завел разговор о кондиционерах.

Без них в Южной Африке не живут даже приличные негры. И пришло время нажать на руководство с тем, чтобы кондиционеры поставили, хотя бы в ординаторских, в библиотеке и, разумеется, в конференц-зале, с которого нужно начать игру. Я думаю, он был прав, потому что бараки были тонкостенные с цинковой крышей. В летнее время на выходе из библиотеки стояло ведро с водой. Когда кому-нибудь из читателей становилось совсем худо, он выползал, покачиваясь, из барака, обрушивал ведро воды себе на голову и плелся к пожарному крану наполнить ведро заново. Оставлять после себя ведро пустым не разрешалось. Иногда полное ведро воды спасало от обморока.

Непутевый не пользовался особым авторитетом, но он победил. В ночь перед первым международным медицинским конгрессом, который должен был состояться в конференц-зале, там стучали молотки. Наутро, а оно было достаточно жарким, чтобы обещать к полудню настоящее средиземноморское пекло, стали стекаться больничные врачи и заморские гости. К одиннадцати утра Шиба попросил открыть окна. Через пятнадцать минут ему доложили, что окна забиты гвоздями и открыть можно только двери. Через полчаса в зал внесли несколько вентиляторов. А к двенадцати побледневшие гости в прилипших к телам рубашках смиренно потянулись к выходу, оставив на спинках стульев промокшие от пота пиджаки.

Рассказывали, что первые кондиционеры пожертвовали иностранные профессора, те, кому выпало на себе прочувствовать, как жара влияет на состояние научной работы в самой большой на Ближнем Востоке больнице. Еще рассказывали, что Шиба сам предложил непутевому этот план, чтобы добыть кондиционеры. Скорее всего, выдумывали. А в библиотеке и при мне жару и мух разгоняли ленивые вентиляторы. И если кто-нибудь приходил к начальству жаловаться, ему указывали на план новой больницы с центральным кондиционированием воздуха. Там под библиотеку был отведен чуть ли не целый этаж.

Мне трудно сказать, похоже ли здание нынешней больницы на знаменитый чертеж, который Шиба велел развесить по всем отделениям и служебным помещениям. Несмотря на то что меня, часто задававшую лишние вопросы, касающиеся функционирования больницы, столь же часто ставили носом к этому чертежу. Говорили, что так делал и Шиба, чтобы, во-первых, поддержать моральный дух сотрудников и, во-вторых,

сломать этот строптивый дух.

Говорили, что Шиба приехал в Палестину не только из сионистских соображений. Он хотел по примеру доктора Швейцера специализироваться в инфекционных заболеваниях, которых тут было много и всех сортов. Еще рассказывали, что ему предложили остаться врачом в крупной венской лечебнице, но Гитлер уже прорвался к власти. Шибер давал этой власти не больше трех лет срока, а за это время надеялся наоткрывать в Палестине столько секретов про неслыханные в Вене заразы, что этого должно было хватить на звание профессора.

Официальная биография сообщает, что с 1933 по 1936 год Шибер работал деревенским врачом. Больничная историография этот факт оспаривает. Деревенских врачей тогда, почитай что, и не было. Если случай был тяжелый и больного никак нельзя было доставить в одну из городских клиник или больниц, к нему выезжали. На ослах, лошадях или даже на машинах. Не столь тяжелые пациенты добирались до городских врачей сами. А Шибер мотался по всей стране в поисках инфекций и заодно помогал организовывать амбулатории. Можно сказать, что Шибер заложил в еще подмандатной Палестине основы будущего израильского здравоохранения, а можно этого не говорить.

Но один случай, описанный самим Шибой и попавшийся мне на глаза среди его бумаг, я все же приведу. Он лечил тогда малярию у знаменитых Хульских болот. И вот пришла телефонограмма, что на другой стороне этого болота женщина не может родить и исходит кровью. Шибер велел тем, кто телефонировал, поставить на берегу кобылу в течке, а себе потребовал молодого жеребца. Ветер оттуда прилетел сюда, жеребец раздул ноздри, заржал и ринулся в воду, а Шибер сидел у него на спине без седла. И они пересекли Хульские воды. Жеребец получил свое удовольствие, а Шибер успешно принял роды «у особы женского пола, усатой и волосатой, как и положено великолепным дочерям Бухары».

Дальше официальные источники сообщают, что с 1936 года Шибер стал работать в больнице «Бейлинсон», что в Петах-Тикве. Устные анналы этот факт подтверждают, но добавляют, что суровая партийная дисциплина «красной» больницы «Гистадрута» не понравилась выходцу из галицийского местечка. Шиба выступил против запрета на частную практику врачей и ушел из больницы по собственному желанию. Своей частной практики, добавляли источники, он никогда не имел. Но в созданной им больнице «Тель-а-Шомер» она не была под запретом.

Далее в биографии Шибы значится «Бригада». «Бригадой» называют еврейское подразделение британской армии, воевавшее

в Италии в конце войны. Рассказов об этом периоде я не помню. Зато много рассказывали о лагере на Кипре, где содержались интернированные британцами евреи, пережившие фашистские концлагеря. Согласно преданию, Шиба налаживал там медицинское обслуживание. В том самом лагере, где голубоглазый Пол Ньюман, герой фильма «Эксодус», снятого Отто Премингером, познакомился с Китти Фремонт, героиней одноименного романа Леона Юриса.

Время от времени в больницу приезжали люди из дальних уголков Израиля. Их называли «людьми с Кипра». Одни просили Шибу стать сандаком их позднего ребенка, другие привозили ему свои житейские проблемы для обсуждения, третьи жаловались на болезни. Все они считали профессора чем-то вроде приемного отца и любили рассказывать за чашкой больничного кофе, как он выхаживал пленников лагеря на Кипре, лечил их тела и укреплял души.

«Люди с Кипра» приезжали еще и при мне. Их нужно было принимать в отделение в обход всех правил, поскольку были они в большинстве своем из глубинки и при красных книжечках. А значит, лечиться должны были не в больнице медицинской вольницы, а в гистадрутовских лечебных заведениях. Порядки пролетарской гегемонии тогда еще держались крепко. Даже Голда Меир не решалась отступиться от правил и лечилась в профсоюзной больнице «Гистадрута». А Бен-Гуриона лечил мятежный Хаим Шиба в больнице, разрешавшей врачам частную практику. Это был своего рода скандал.

Но мы уже заглянули в середину 1960-х годов, тогда как кипрские приключения Шибера относятся к середине 1940-х, когда «Бригада» сменилась в его жизни «Хаганой». А с рождением государства и ЦАХАЛа Шиба (уже окончательно не Шибер) стал первым главврачом этой армии. Рассказывали, что он создавал медицинскую службу армии от «алеф» до «тав», включая курсы фельдшеров и постоянно меняющуюся, а оттого еще более постоянную логическую схему медицинской помощи, согласно которой медицина должна шагать не в ногу с солдатом, а на полшага впереди него. Не только в вопросах бытовой гигиены, но и непосредственно в бою.

Больница, в которой врачи свободны думать, что хотят, могут голосовать, как хотят, и лечить всех израильтян, не интересуясь, являются ли они членами «Гистадрута», создавалась Шибой в оставленных мандатными английскими войсками бараках военного лагеря на Холме Шомера (Тель-а-Шомер) одновременно с медицинской службой в армии. Нет ничего удивительного в том, что их судьбы переплелись.

Военврачи проходили подготовку в больнице Шибы. Основные должности в медицинской службе армии распределялись Шибой, и в первую очередь — среди его воспитанников, бывших одновременно тель-а-шомеровцами. В этой среде решались также основные медицинские вопросы армии, а потому нет ничего удивительного в том, что больница «Тель-а-Шомер» еще и в мою бытность ординатором считалась военным госпиталем.

Больница была наполнена врачами, то и дело менявшими белые халаты на воинскую форму. Их знали, к ним относились с особым уважением. В день перед вылетом наших бравых парней в Энтеббе для освобождения заложников сразу двое таких ребят подкатились ко мне с просьбой подменить их на дежурстве. Было не принято отказывать в такой просьбе, хотя военврачи нередко врали гражданским, отпрашиваясь ради простенького свиданьица, а не геройского подвига. Но в тот день крики заложников звенели у всех в ушах. И хотя до царства изувера Иди Амина было не рукой подать, все мы почему-то были уверены, что наши парни полетят туда и спасут наших людей.

Военный характер моей больницы открылся мне в Войну Йом Кипура. Но к Шибе эта история не имеет прямого отношения. Или имеет. Говорили, что вертолетную площадку для приема раненых солдат запланировал еще он сам.

Так мы стали единственным госпиталем в стране, у которого была площадка для посадки вертолетов. И больница так срослась с армией потому, что у них оказался общий папа, который ушел из армии в Минздрав строить здравоохранение страны. Рассказывали, что должность директора министерства ему не нравилась потому, что заседать приходилось слишком часто и слишком долго.

Больничная мифология пропустила период директорства в здравоохранении без внимания. Никаких баек об этом периоде жизни героя я не слышала. Возможно, сама больница, ее наличие и существование и есть легенда этого периода. Не стань Шиба главой израильского здравоохранения, нипочем не стали бы власти затевать больницу, которая в том месте и в то время была совершенно не нужна. Людей в государстве было немного, а больниц сколько угодно. Вернее, больниц было много в одних местах и совсем не было в других, но вокруг Тель-а-Шомера их набиралось аж шесть или семь. Тот факт, что Хаим Шиба хочет построить себе больницу, чтобы не иметь частной практики, но не по приказу, а по личному выбору, не мог служить аргументом. Не те были времена.

Шибу обвиняли потом во всех возможных грехах. Главным

считался грех самостийности. Мол, сам не признавал над собой ничьей человеческой власти, да еще наполнил больницу такими же анархистами. В этом было много правды. Про Шибу не скажу, я с ним встретиться не успела. Зато каждому тогдашнему заведующему отделением можно было вполне налепить на грудь звезду шерифа. Указаний, спущенных сверху, не выполнял никто. А порядок в больнице был железный. И держался он именем покойного Шибы, хотя при жизни легендарного главврача добрая половина старших врачей с ним разругалась и даже не здоровалась. Дух этот бродил по больнице долго. Никто не помнит, когда он испарился, но все старые «тель-а-шомеровцы» сейчас согласны с тем, что больше его не ощущают.

Летопись патриарха

Биограф Давида Бен-Гуриона, Михаэль Бар-Зохар, считающийся весьма авторитетным знатоком, утверждает, что Старик, как называли создателя Государства Израиль, пролежал в отдельной палате две недели, после чего умер. «Большую часть времени он был в полном сознании, — пишет Бар-Зохар в книге, которая так и называется „Бен-Гурион“ („Библиотека Алия“, 1985). — Белая кровать, одиночество отдельной палаты. Кровоизлияние вызвало частичный паралич, и Бен-Гурион не мог говорить. Он пожимал руки посетителям, всматривался в них своими умными глазами. Взгляд их не был ни беспомощным, ни отчаянным. Было в нем какое-то спокойствие, но без умиротворенности и покорности».

Я была палатным врачом. Одноместная палата, о которой идет речь, была под моим присмотром. Но при мне ее обитатель в сознание ни разу не приходил. А если бы это случилось в мое отсутствие, мне должны были сообщить об этом, где бы я ни находилась. Я же должна была немедленно сообщить о событии личному врачу Бен-Гуриона. Только сообщать было нечего. Старик лежал в глубокой коме, вызванной инсультом. Пожимать руки он не мог физически. Правда, однажды во время обхода кто-то сказал: «Бен-Гурион, арабы возле Беэр-Шевы. Что делать?» Кончалась Война Судного дня. Но арабских войск не было под Беэр-Шевой и в ее начале. Шутовство спрашивающего было неуместно по отношению к знаменитому пациенту, но оно снимало напряжение. Некоторые в толпе врачей, медсестер и стажеров, окружавших кровать, криво улыбнулись. Другие раздраженно свели брови на переносице. В это время один из врачей, проверявших пульс, опустил безжизненную руку Старика, и рука скатилась по одеялу. Назавтра я прочитала в одной из газет: «На вопрос, что делать с арабами в Синае, Бен-Гурион показал рукой — гнать!» Я думаю, не одному Бар-Зохару хотелось верить в то, что мощный прожектор разума, благодаря которому еврейское государство было создано не в мечтах и не на бумаге, а наяву, погас.

Между тем персонал больницы устал. В разгар войны, которую тогда еще называли просто «проклятой», а потом стали называть Войной Судного дня, никто не глядел на часы. Было решено поделить день на три смены и работать по восемь часов кряду, а следующие восемь отдыхать, но так получалось редко. Врачей не хватало. Медсестер не хватало. Доброволки, сменившие арабок-уборщиц, были нерасторопны. Смены

затягивались. И вот война подошла к концу, стали возвращаться врачи и уборщицы, график дежурств начал входить в норму, а тут велели «делать сионизм», то есть дежурить при Бен-Гурионе сверх обычных дежурств и бесплатно.

Врачи взбунтовались. Они с рождения только и занимались «деланьем сионизма». А я что? Мне еще было догонять их и догонять. Стали составлять график дежурств. Получилось, что дежурить будут двое сравнительно новых репатриантов и один местный паренек с повышенным чувством локтя, который считал дежурство при Старике чем-то вроде пионерской вахты при бюсте и знамени. «Нечестно, чтобы это делали одни новенькие, — объяснял он, — старый ишув обязан участвовать». Дежурить приказали, когда медицинским светилам стало ясно, что улучшения не предвидится. Мое дежурство было вторым. А на совестливого врача из местных дежурства уже не хватило.

Никакой работы от внештатного дежурного и не требовалось. Зайти раз в час в палату, прислушаться к капанью инфузии, проверить, работает ли катетер. Ну и, разумеется, констатировать жизнь. Или смерть, которая должна была наступить неминуемо, но никто не знал когда. Надо сказать, особого ажиотажа от присутствия Старика отделение не испытывало. Может быть, потому, что пока был жив профессор Шиба, Бен-Гурион бывал тут, и не раз. А после смерти Шибы врачи отделения ходили к Старику на дом измерять давление и брать кровь на анализы. Навещали они его в тель-авивском доме, расположенном на одной из центральных улиц города.

Сейчас эту улицу называют бульваром Бен-Гуриона. Двухэтажный особняк, ныне музей, купленный четой Бен-Гурион в рассрочку, был построен где-то в начале тридцатых годов в «первом рабочем районе», на земле «Керен каемет». Тогда никому не пришло бы в голову проверять, получил ли Старик какие-нибудь льготы при покупке. Вопрос денежного эквивалента любого его поступка казался и был бессмысленным. Бен-Гурион нередко причинял будущему, а после и уже возникшему Государству Израиль ущерб, но чаще приносил доход. И тот и другой исчислялись миллионами. А первым получателем дохода или потерпевшим убыток бывал сам Старик, его проекты и планы. Личной жизни, отдельной от построения еврейского государства, у него тогда уже не было.

Бен-Гурион был государством, пока его создавал, а потом государство стало им. Но «проклятая война» все изменила. Впрочем, многие изменения произошли задолго до войны. К началу военных действий 86-летний Старик был уже не у дел и в опале у большей части бывших единомышленников. За год до

войны он даже перестал писать свой нескончаемый дневник, летопись истории создания Израиля. «Ты собираешься когда-нибудь прочесть все, что написал?» — спросил его как-то Игаль Алон. «Другие прочтут», — спокойно ответил Бен-Гурион, ничуть не умалявший значения каждой минуты и каждого интеллектуального или чувственного импульса собственной жизни.

Кроме Старика, в последние годы его жизни в доме жили только книги. Они выстраивались на полках, которые занимали почти все стены. «Обыкновенный человек не может прочесть столько книг», — восхищенно бубнил Дуби Шабатон, старший врач нашего отделения, которому позволяли брать у Старика кровь на анализ и измерять давление. У Дуби были «золотые руки». Больные, в особенности старушки, были готовы ждать и день, и два, лишь бы процедуру совершал их любимец. Но у Шабатона не оставалось на старушек времени, потому что он колол, резал, брал кровь и совершал все прочие терапевтические процедуры хирургического характера по бесконечным протекциям. Был он огромен и мужикоподобен, но при выполнении медицинских процедур становился изящен и пластичен, как балерина. Еще Шабатон время от времени ходил в родильный дом навещать рыдающих мамаш недоношенных младенцев. При виде здоровущего врача-великана, получившегося из шестисотграммового недоноска, мамаши успокаивались и наполнялись молоком.

Когда «проклятая война» довела до инсульта Бен-Гуриона, следившего за ее ходом из одиночества плохо освещенного кабинета, Шабатона в отделении не было. Где именно воевал Дуби, я не знаю и не знала. И вот как-то в поздний послеобеденный час я заметила приоткрытую дверь в палату Бен-Гуриона и заглянула туда. В ногах кровати на стуле сидел Дуби Шабатон в грязной и мятой военной форме. Прижав ладони к вискам и опустив глаза, он говорил. Негромко, но очень внятно. Жаловался на армейский бардак, на бессмысленность нескончаемого кровопролития, называл имена виноватых, приводил примеры. Дуби, опытный врач, не мог предположить, что Старик каким-нибудь образом участвует в беседе. Но в ту войну многие, видевшие в Старике отца нации, высшую силу справедливости и залог нерушимого порядка, готовы были разговаривать даже с его портретом.

Понятие «даену» перешло в современный иврит из Пасхальной агады. «Если бы Он сделал то и то, — поют взрослые и дети, — нам этого хватило бы („даену!“), но Он сделал больше». Так вот, если бы Бен-Гурион просто создал в Палестине народный

орган еврейского самоуправления, «Гистадрут» или «Сохнут», для одной биографии этого было бы достаточно. Но он еще создал из обоих модель миниатюрного государства со всеми ветвями власти, приведенными его же стараниями в совершенно рабочее состояние. Настолько рабочее, что модель начала функционировать с первой минуты объявления государства. Но по большому счету она уже полностью функционировала и до его объявления. «Даену!», конечно, но Старик еще и переборол сопротивление большинства соратников, решив объявить о создании государства, у которого, казалось, не было ни малейших шансов выжить.

А объявив Государство Израиль и определив для него флаг, гимн и характер правления, Бен-Гурион сумел еще и навести на этом взрывчатом поле противоборствующих идеологий относительный порядок, организовать армию и выиграть битву с гораздо лучше экипированными армиями всех непосредственных соседей. Потом он поставил молодое государство на ноги. Такое мог совершить только человек, управляемый волей Небес. Каковым, отметим, в последние годы своей жизни Старик себя считал.

Нельзя сказать, что народ, ради которого он все это делал, оказался неблагодарным. За год до войны Израиль пышно праздновал 85-летие Бен-Гуриона. Хвалебные речи и славословия были вполне искренними. Как и оскорбления, вызванные искренней ненавистью. Например, за операцию «Сезон», инициированную и/или санкционированную Стариком, во время которой отлавливались, запугивались, выводились в расход или передавались в руки английских мандатных властей для повешения десятки политических противников. Правда, эти люди не были невинными козлятами. Они осуществляли террор против мандатных властей, но тем же самым занимались выученики и непосредственные соратники Бен-Гуриона.

После «Сезона» была «Альталена», расстрелянное судно, названное в честь Жаботинского, главы ревизионистов и главного соперника Бен-Гуриона. Но были времена, когда соперники искренне дружили. Более того, порой они были настолько близки в понимании задач и действий, необходимых для их выполнения, что казалось: Бен-Гурион просто исполняет то, что Жаботинский сказал или написал. Однако ближе к сороковым годам прошлого века вражда между двумя главными персонами сионистского движения считалась смертельной. А после смерти Жаботинского главным соперником Старика стал Менахем Бегин, преемник покойного.

«Альталена» привезла оружие для людей Бегина, а Бен-

Гурион создавал единую армию для уже объявленного государства и действительно не мог допустить существования отдельных воинских контингентов, не подчиняющихся единому командованию. Вместе с тем он не допускал даже мысли о том, что военачальники от ревизионистов могут войти в общее командование этой армии. Поэтому вполне естественно, что Бегин заявил: безвозмездно оружие, привезенное «Альталеной», он не отдаст. И Бен-Гурион велел расстрелять судно вместе со всеми, кто находился на борту. Включая Бегина, покинувшего развороченный корабль последним.

И до того случая, и после него описано немало выходок Старика, безжалостно разрывавших на части сравнительно небольшую общину палестинских евреев. К моменту объявления государства их, этих евреев, было всего около 600 тысяч, совсем как в дни исхода из Египта. И это был для Бен-Гуриона далеко не единственный повод меряться славой с библейским Моисеем. Бар-Зохар утверждает, что к концу жизни Старик стал истинно верующим евреем. Этому биографу приходится верить — его рукой водил сам Бен-Гурион, отвечавший на вопросы, предоставлявший нужные материалы и определявший сетки координат и основные векторы сюжетной линии биографической легенды. Подтверждает религиозную определяющую в мироощущении Бен-Гуриона и бытующий в народе афоризм, однозначно ему приписываемый: «Моя синагога, в которую я не хожу, это ортодоксальная синагога».

Так что Дуби Шабатон, потрясенный административными провалами Войны Судного дня, доверял свою боль не некоей бессознательной инстанции, а главе третьего еврейского царства, сила и мудрость которого зависели не от работы нервных клеток, вышедших из строя, а от воли высшей силы, способной слышать неслышимое и видеть невидимое. Я тихонько прикрыла дверь и вышла, гордая тем, что приставлена улавливать еле слышное дыхание этой силы, не позволяющей небольшому скоплению биологического вещества, занимавшему неполных две трети длины больничной койки, спрятаться раньше времени за пеленой вечного небытия.

Это мое решение никак не зависело от идеологии. Бен-Гурион был, конечно, весьма своеобразным социалистом, но для меня тогдашней любой социализм был неисправимо плох. Кроме того, не будучи идейной сионисткой, я все же после Катастрофы не обнаруживала для себя иного местожительства на планете, нежели государство евреев. В котором, кстати, находила огромное количество недостатков, приписываемых как раз влиянию Бен-Гуриона. Все это не должно было иметь ни

малейшего отношения к дежурству «при бюсте и знамени», которое я тем не менее готова была нести сколько понадобится. Однако не понадобилось. Война Судного дня закончилась, и Старик перестал дышать.

А ныне особое отношение к Бен-Гуриону, долго сохранявшееся в атмосфере Израиля, испарилось. Его портрет еще иногда вывешивают на пленумах рабочей партии «Авода», с нынешней генеральной линией которой Старик вряд ли бы согласился. Но и только. Созданную Бен-Гурионом страну додумывают, изменяют и продолжают строить другие. Хотя история создания этого государства все еще преподается в соответствии с дневником-летописью, на создание которой Бен-Гурион потратил не менее трети собственной жизни.

Мужчина в доме

С тех пор как мама умерла, я одна во всем мире храню в памяти рецепт пасхальных кнейдлах «Голда Меир». Мама придумала их как раз в тот момент, когда ее чуть не задавили насмерть, прижав к стене или забору московской синагоги.

К стене или забору — этого она никогда не могла определить точно. А как мама попала в Москву из Вильнюса ровно к Йом Кипуру и к третьему посещению московской синагоги новоназначенным послом новосозданного Государства Израиль, есть вопрос позиции, угла зрения и состояния души. Глядя с сионистской позиции, какой придерживалось большинство литовских евреев, а также с точки зрения маминого магического мироощущения, все было предопределено.

Она окончила в Ковно ОРТ, всемирную сеть профессионального обучения для еврейских детей, и стала тем, кого сейчас называют модельером или дизайнером моды. Потом осталась преподавать в ОРТе и стала ездить на каникулы в Париж, откуда привозила новые модели и идеи. Из моделей и идей получались показы. Кроме показов и преподавания, мама придумывала шляпки из фетра, атласа, птичьих перьев и цветов. Те, кто видел и носил эти шляпки, рассказывали, что они были — чудо!

В Париже мама познакомилась с Жаботинским, влюбилась в него и сионистскую идею, после чего решила делить время между Палестиной, Парижем и Ковно. Палестинских женщин, объясняла она, необходимо приодеть, так считает сам Жаботинский. Но Шикельгрубер считал иначе, и мама оказалась в эвакуации в далеком среднеазиатском Коканде, где за ее парижские крепдешины платили хлебом и рисом. Проблема была только в том, что девушек маминого субтильного размера в этом городе было немного.

А после того как все мое семейство вернулось из Средней Азии в Литву, ставшую частью СССР, мама продолжала следить за тем, что происходит в Палестине. Она утверждала, что в те годы в Литве это было еще возможно, хотя никогда не объясняла, как именно. И тут она узнала, что в Москву прилетела Голда Меир. И была в синагоге, в Рош а-Шана. Мама решила немедленно отправиться в Москву и занять место у входа в гостиницу, но папа ответил, что это прямой путь в КГБ, поэтому «кумт ништ ин фраге» («без вопросов»). Невозможно! И тогда без видимой причины — вот она, мистика! — в Вильнюс приехал на собственной машине папин приятель, москвич по имени Андрей.

Возможно, он хотел повеселиться в компании папиных друзей, знатно умевших это делать, или поудить рыбу на озерах, где все еще водились и щуки, и красивые женщины в довоенных купальниках, но не учел, что впереди Йом Кипур. В который даже такие завзятые апикойресы, как мой папа, не развлекались с дамами и не удили рыбу. Андрей побыл у нас дня два и собрался в обратный путь. А мама решила ехать с ним.

— В Йом Кипур, — сказала она за обедом, — Голделе не сможет не прийти на Коль нидрей в главную московскую синагогу.

— В Йом Кипур, — ответила мамина сестра, женщина твердых еврейских правил, — нормальные женщины сидят дома, а не болтаются по дорогам с чужими мужчинами.

— И почему тебя не успели отослать в Палестину до прихода Гитлера? — вздохнула мама.

Итак, мама своими глазами увидела посла Израиля Голду Меир. Домой она вернулась назавтра поездом. Не в силах сомкнуть глаз после знаменательного события, а также не сумев улечься на купейной полке из-за сломанного в толчее ребра, она записала рецепт пасхальных кнейдлах, посвященных Голде Меир. Помимо обычных ингредиентов, они содержат мускатный орех, корицу и еще нечто, о чем я не могу писать, поскольку вопрос кошерности этой добавки так и остался не полностью решенным.

Мама говорила о Голде Меир с восторгом и в первые дни после приезда из Москвы, и позже, когда плохие люди стали распространять плохие слухи о том, что Голда Меир — просто клавте, потому что она — посол Израиля! — сама ходит на базар за продуктами и торгуется там с торговками на идише.

— Бедная! — прокомментировала моя мама. — Но что еще можно делать в той ужасной шляпке, в которой она пришла в синагогу? Только ходить на базар! Говорят, она из бедной семьи, и я должна была передать ей подарок.

Речь шла о шляпке редкой красоты, которую мама сотворила из импортного велюра, остатков старорежимного панбархата, птичьего крыла и вуалетки, присланной тете Нюте из самого Парижа. Тетя Нюта рисковала, торгуя вещами из заграничных посылок, а потому драла втридорога. Но вуалетку для шляпки Голде Меир она отдала бесплатно. А Андрей отказался передать эту шляпку, потому что незадолго до того, после разговора с послом Израиля, в застенки КГБ угодила жена самого Молотова!

Больше я не слышала о Голде Меир до конца пятидесятых. Тогда польским гражданам разрешили эмигрировать в Польшу. Мамина сестра, давно мечтавшая попасть в Израиль, нашла себе

фиктивного мужа, имевшего право уехать на родину в Польшу, заплатила ему золотым рублем, который носила в лифчике всю войну, и уехала в Варшаву. Оттуда она прислала с оказией сообщение о благополучном прибытии и баночку растворимого кофе, которого в СССР еще не было. Посыльный передал нам на словах и рецепт «кофе Голда Меир», как называли его в Польше: ложечку кофе растирали с ложечкой кипятка и двумя ложечками сахара до состояния желто-коричневой пены, а потом доливали кипяток и пили, не добавляя ни молока, ни сливок. Папе растворимый кофе не понравился. Не любил он и Голду Меир.

— Клавте или не клавте, — резюмировал папа, — но говорят, что эта идене послала списки сионистов Сталину. И он всех несчастных из этого списка посадил. А кто сказал самонадеянной дуре, что нужно составлять такие списки и можно посылать их палачу? Ах, она думала, что сионистов отпустят в Израиль? А посоветоваться?! Нет, вот что я вам скажу: она не клавте! Она яхне!

Гости смущенно хмыкнули, а мама вышла из комнаты. Называть посла Израиля «идене», «клавте» и «яхне» было, с ее точки зрения, недопустимо.

Вообще-то на идише «идене» — просто «еврейка». Но женщин из добрых семей так не называют. «Идене» — это женщина из народа, «амха». К таким можно обратиться просто: «Вос махт а идене?» («Как поживает еврейка?»). И это считается вполне вежливым обращением. Зато «клавте» — это уже почти ругательство. Сплетница, сующая нос куда не надо; неумная баба, упрямо преследующая никому не нужные цели; умелица рассорить лучших друзей и внести разлад в семью. А «яхне» — это всезнайка, знающая лучше, чем кто бы то ни было, как следует поступать и чего не следует делать.

Забегая вперед, скажу, что биографы и почитатели называют Голду Меир «настоящей еврейской женщиной». То есть «идене». А настоящая идене не может не быть в определенной мере «клавте». И если уж идене сумела добраться до высших эшелонов влияния и власти — кто она, если не «яхне»? Но папа имел в виду другое. Для него «идене» звучало пренебрежительно. А для Голды — нет. Она даже решилась оставить себе сугубо идишское имя, тогда как большая часть того, что считается афоризмами Голды Меир, представляет собой перевод на иврит идишских поговорок и идиом. Например, «не будь так скромен, ты еще недостаточно велик».

Служа послом в Москве, Голда писала домой отчеты о своей жизни, жаловалась на необходимость участвовать в светских вечеринках, которые терпеть не могла. Поселившись в

«Метрополе», она тут же сложила деньги сотрудников в общий котел и разрешила им есть в ресторане не чаще одного раза в день. Ужин и субботнюю трапезу Голда готовила сама, но еще и раздала по сковородке и по кастрюльке на комнату, чтобы каждый мог обслужить себя при желании сам. Она действительно ходила самолично на базар в сопровождении своего секретаря, француженки Лу, которую наняла перед самым отъездом в Россию, и именно за то, что та умела носить шляпки. Все это Голда сама описывает в своей автобиографии, книге под непритязательным названием «Моя жизнь».

На официальном сайте Голды Меир размещено интервью этой Лу Кедар: француженка объясняет, что готовить она никогда не умела, но и есть простую еврейскую стряпню, какой Голда кормила свой штат, не любила. Она рассказывает, что вонь в коридоре перед посольскими апартаментами стояла страшная, но не сообщает, из чего состояла посольская стряпня. Сама Голда в автобиографии отводит вопросам питания не меньше места, чем идеологии. Она сообщает, что по субботам хороший ужин в ее семье состоял из куриного бульона, фаршированной рыбы, кисло-сладкого мяса и морковного цимеса. Сотворить все это в гостиничном номере было нельзя. Думаю, что первое израильское посольство в Москве питалось не намного лучше, чем кибуц Мерхавья, где любимое блюдо, которым Голда угощала субботних гостей, состояло из жареного лука с покрошенными в него вареными яйцами.

А Лу была парижанкой. И ей казалось совершенно необходимым сделать себе маникюр, а заодно уговорить Голду согласиться на эту, незнакомую ей, процедуру. Еще — убедить посла-начальницу выдать деньги на парикмахера мужчинам дипломатической миссии: их волосы стали уже спускаться кудрями на плечи.

Голда не гнушалась говорить на идише, когда война иврита против «жаргона» была в самом разгаре, хотя в саму войну не вмешивалась. Она так до конца жизни и не вышла за рамки поведения, принятые в штетле, как бы он ни назывался — Киев, Милуоки или Тель-Авив. Не потому, что не знала, как это сделать, а потому, что любила местечковый еврейский порядок. Социалистическая идеология играла только подсобную роль. Например, в кибуце Мерхавья, с которого Голда начала свой жизненный путь в Израиле, многие возмущались ее мещанской привычкой есть на скатерти. Голде, единственной из кибуцниц, нравились дежурства на кухне, где многое нуждалось в крепкой хозяйственной руке. А она была еще молода тогда, но, в отличие

от кибуцных суфражисток, выбрала себе роль не освобожденной женщины, а еврейской мамы. Позже Голду Меир не раз называли в СМИ и устных обращениях «матерью солдат» и даже «матерью Израиля», сравнивая ее с Рахелью и самой Шхиной, оплакивающей сынов своих на развалинах Иерусалима.

История со списком сионистов, якобы составленным Голдой для Сталина, имела хождение не только в СССР, но и в Израиле. Я нигде не нашла прямого подтверждения этому факту. Получалось, что в основе столь серьезного обвинения лежали только слухи. Да и Голда нигде напрямую не останавливается на этом вопросе. Но когда речь идет о еврейской женщине, нужно обращать внимание не столько на сказанное, сколько на купюры. Что-то невысказанное давило на Голду и заставило отвести в автобиографии шести месяцам службы послом в СССР не намного меньше места, чем девяти годам на посту министра труда. И хотя за время ее пребывания в Москве был закрыт Еврейский антифашистский комитет и арестованы крупнейшие деятели еврейской культуры, обо всем этом в воспоминаниях нет ни слова. Зато есть подробный отчет о том, с кем Голда встречалась, что стряпала и о чем болтала. Эти встречи и разговоры не имеют никакого политического или исторического значения. Потому невозможно избавиться от впечатления, что речь идет о попытке сказать: «Видите, я ничего от вас не скрываю. А то, о чем я не написала, не имело места быть».

Приехав в Израиль в 1971 году, я почувствовала широко разлитую неприязнь к Голде, бывшей тогда уже премьер-министром (1969–1974). Ее не любила наша учительница, по словам которой Голда была виновата в кошмарном приеме эмигрантов пятидесятых годов, которыми распоряжались как крепостными. Судя по автобиографии, министр труда действительно отвечала за насильственное расселение репатриантов, повлекшее за собой огромное количество семейных трагедий. Этой драме в автобиографии посвящено несколько страниц, на которых Голда объясняет причины собственного авторитаризма. Причины, возможно, и уважительные, но приводятся они не столько с точки зрения государственной необходимости, сколько с позиции матери еврейского семейства, которая всегда лучше других членов своей семьи знает, чем они должны заниматься.

Не любили Голду и мои многочисленные новые знакомые, большинство которых еще помнили идиш, русский или польский, что открывало возможность для общения, поскольку иврита я тогда не знала. Трудно понять, почему именно они, выходцы из местечка, должны были жаловаться на местечковость премьер-

министра и ее взбалмошный характер. Впрочем, Голда сама подтрунивает над этими своими качествами. Особенно над взбалмошным, властным характером, не раз портившим ее отношения с родителями и сестрами, с мужем, а потом и с детьми.

Как-то меня срочно вызвали к главному врачу больницы, в которой я довольно долго была единственной представительницей репатриации из СССР. В кабинете главврача восседала Голда Меир в клубах сигаретного дыма. Я поняла: Голде доложили, что больница принимает алию. В моем единственном лице.

— Тут многие кричат: «Долой Голду Меир!» — сказала она, убирая слова в нос, словно укутывая их в вату. — Это называется свобода. В СССР ведь нельзя кричать: «Долой Брежнева!», а?

— Зато там можно снять с работы плохого начальника, — неизвестно зачем отпарировала я.

— Уволь ее, — посоветовала Голда главврачу. — У тебя с ней будут проблемы.

Она произнесла это, не глядя на меня и не понижая голоса, словно меня уже не было рядом. Ее коллеги по партии и министерской службе потом говорили, выслушав мой рассказ, что узнают Голду. К оппонентам она обычно бывала сурова.

Но поколение моей мамы не соглашалось отнять у Голды почитание и любовь. «Она — наша!» — с жаром произносили мамины подружки, рискуя вызвать недовольство собственных детей. А дети эти, люди уже вполне взрослые и самостоятельные, терпеть не могли местечковость. Они с удовольствием пересказывали друг другу исторический анекдот о Теодоре Герцле, лично проверявшем состояние ногтей и ушей своих восточноевропейских сородичей перед групповым визитом к представителям западного политического и культурного истеблишмента. Себя с теми проверяемыми мои сверстники не отождествляли.

Впрочем, Голда вообще не занимала в те годы моих мыслей. Слишком многое валилось со всех сторон. А тут еще свалилась на голову война. Больница, в которой я работала, считалась военным госпиталем. Война захватила его целиком. Мы работали по восемь часов и восемь часов потом отдыхали, ощущая себя призванными и мобилизованными. Работа была каторжная. Больница пропахла запахом горелого мяса. Каждое утро у входа выстраивалась очередь длиной в несколько сотен метров. Это добровольцы, а в основном доброволки, добивались права вымыть полы или потаскать носилки с больными. Голда выступила в

первые дни войны по телевидению и напомнила согражданам, что мы стоим спиной к морю и переплыть его не сможем. Никто и не спорил. Дезертирство казалось немыслимым, а победа невозможной. И тут Арик Шарон прорвался через Суэцкий канал в Египет.

Его считали бегиновским отродьем и плохим мальчиком, но в тот день незнакомые обнимались и целовались, повторяя: «Ах, Арик, ах, негодяй, ах, подлец, как он всех сделал!» График работы нормализовался, но вдруг меня назначили ответственной за палаты, в которых разместили наших пленных солдат, вернувшихся из Египта и Сирии. С этой минуты в сутках стало столько часов, сколько надо. И в один из таких дней навестить бывших пленных пришла Голда в сопровождении начальника Генштаба Давида Элазара, которого все звали просто Дадо.

Естественно, вокруг них выстроилось все больничное начальство. Голда начала обход. Солдаты отвечали вежливо, но без энтузиазма. Процессия медленно продвигалась от двери к окну, и впереди расположился проблемный парень, которого лучше было обойти. Они там в блиндаже на Суэцком канале в первые же часы войны остались без боеприпасов. Пришлось ловить египетские гранаты с вырванной чекой и бросать их назад. Одна граната разорвалась совсем близко. Парня контузило, и, когда египтяне пришли за ним и еще двумя-тремя оставшимися в живых в этом блиндаже, он не смог встать. Сознание полностью вернулось к нему только в плену. Тогда он уже мог встать, но решил этого не делать. Египтяне пытали его, засовывали иголки под ногти, били, ошпаривали и поджигали, но он не давал мышцам двигаться. А потом мышцы окаменели. Мы пытались вернуть их к жизни.

Парень этот был из Северной Африки. Он не любил социалистов, ашкеназов, кибуцников и военное начальство, оставившее его на канале без боеприпасов. У него не было особых претензий лично к Голде, но говорить с этой бабой он не собирался. Поэтому, когда Голда подошла к его кровати, парень повернулся к ней задом. Я вскрикнула и прикрыла рот рукой: он повернулся самостоятельно, что у него прежде не получалось. Потом я шепнула больничному начальству, что этого солдата лучше обойти стороной.

Больничное начальство передало мою просьбу Голде, но она, словно назло, застряла возле этой кровати, без конца укладывая в нос слова: «Солдат, солдат, это я, Голда!» Солдат не поворачивался, Голда не прекращала нудеж, ситуация зашла в тупик, хорошо, если бы можно было опустить занавес. И тут солдат выпустил из кишечника весь запас метана, какой там

собрался. Иначе говоря, громко и основательно пукнул. Мол, иди отсюда, тетка, не то хуже будет.

Но Голду словно припаяли к полу. «Солдат, солдат, это я, Голда!» И тут парень, недвижно лежавший под египетскими пытками, взметнулся и плюнул Голде в лицо. В палате установилась тишина. Только со стороны окна, на подоконнике которого устроился Дадо, раздался всхлип. Начальник Генштаба уронил лицо в ладони. Генерал плакал. То ли из-за всей этой истории с египетским пленом, то ли потому, что еврейский солдат плюнул в лицо идише маме нации.

Голда же спокойно утерлась и перешла к следующему больному. Газеты об этом приключении не написали. Они тогда хотели считаться солидными. А вскоре Голде пришлось уйти с поста премьер-министра. Комиссия Аграната, расследовавшая причины первоначальных израильских неудач в эту войну, освободила ее от ответственности, обвинив во всем мужчин-генералов во главе с Дадо. Однако, когда выяснилось, что Голда получила предупреждение о грядущей войне сразу из нескольких надежных источников, но так и не отдала приказ об общей мобилизации, общественный приговор стал обвинительным. А Давид Элазар, храбрый вояка, так и не сумевший пережить выпавший на его долю позор, умер от сердечного приступа в неполные 50 лет через два года после войны. Он-то хотел превентивно поставить под ружье всю армию, но ему не позволили. А объявить мобилизацию за 24 часа могла по закону только Голда.

Она, конечно, тяжело переживала эту свою неудачу, но ее оправдательная речь в последней части автобиографии состоит не из доводов рассудка, а из чисто бабских причитаний. Мол, она пожертвовала семьей и нормальным ходом женской жизни, потому что нужно было строить и устраивать национальный дом. И она заботилась обо всех евреях как о собственных детях, за что готова понести наказание от родных детей, на которых времени всегда не хватало. А наказания от еврейского народа она не заслужила.

Оценка роли Голды Меир (Меирсон, урожд. Мабович) в деле построения Израиля неоднозначна. Бен-Гурион утверждал, что Голда — единственный мужчина среди его министров. Сама же она в автобиографии старательно вышила крестиком и гладью слов свой чисто женский образ «идене» и «идише маме». Правда, благодаря Вуди Аллену, и не ему одному, «идише маме» превратили в существо более опасное, чем террорист, поскольку с террористом иногда все-таки удается договориться. Впрочем, возможно, «идене» всегда и была мужчиной в доме. Еврейский

фольклор дает основание для такой интерпретации.

По системе Станиславского

Моя жизнь в Израиле началась с дилеммы: босоножки или «Дибук»? Пьесу играли в «Габиме». Фотографии актеров, развешанные над кассой театра, намекали на российские двадцатые: треугольники щек, черные колеса вокруг глаз, выпрямленные жирной черной чертой носы. «На Хану Ровину в „Дибуке“ нужно пойти», — сказала тетушка, с которой мы только что соединились семьями. «На это старье?!» — обиженно удивилась ее внучка, почти моя ровесница.

Тетушка жила в Тель-Авиве лет двадцать с небольшим. Ни саму пьесу, ни Хану Ровину в ней, ни Хану Ровину в другой пьесе она не видела. Зато они — примадонна и тетушка — ходили в одну парикмахерскую на улице Шенкин. По этому случаю в витрине висел большой засиженный мухами портрет первой трагической актрисы страны. Я купила босоножки.

Несколько лет спустя на блошином рынке в Яффо мне попалась стопка пьес на русском языке с карандашными пометками на полях. Между тонкими книжицами в коленкоровых переплетах затесалась тетрадка, на обложке которой было написано вылинявшими чернилами «Хана Ровина». Это был конспект лекций по системе Станиславского. Я вернула находку старьевщику с легким сердцем. Хана Ровина меня совершенно не интересовала. Я видела ее в какой-то пьесе — сухая старуха двигалась, как на котурнах, держа грудь колесом и выкрикивая малозначительный текст так, словно решала, быть или не быть, на манер Высоцкого в «Гамлете». Но вскоре по Израилю растекся скандал. Скандалила певица Илана Ровина, дочь знаменитой актрисы и поэта Александра Пена. Голосок у нее был небольшой и неинтересный, однако на фоне тщательно раздутого скандала залы наполнялись и газетчики интересовались.

Скандал состоял вот из чего: всенародно забытый поэт Александр Пен некогда сочинил примадонне, которой тогда перевалило за сорок, незаконного ребенка, а потом бросил и мать, и дитя. Ровина же, вместо того чтобы оставить сцену и заняться ребенком, поступила, как поступали в таких случаях примадонны всех времен и народов: сдала девочку на попечение нянек, а потом пристроила в хорошую трудовую семью. Выросшая дочь ей этого не простила. Вымазала в дегте и перьях. И Пена заодно. Нормально. Но за Ровину почему-то стало обидно.

Она же держалась сфинксом. Пальцем не пошевелила, чтобы отвести обрушившийся на нее поток обидных слов. И то сказать: репутацию, выкованную в большевистской России начала XX века,

подмочить трудно. А Пен кайфовал. О нем наконец-то вспомнили. Рассказывали, что в разгар романа, то есть в начале тридцатых годов, они любили сидеть в кафе «Косит» на улице Дизенгоф, 117 в окружении местной богемы. Эта пара считалась образцом свободной любви.

Я отправилась взглянуть на место действия. Стояли ранние восьмидесятые. Кафе доживало. Внутри неухоженного помещения сонно трепыхалась пыль, слегка разбавленная табачным дымом. Она то оседала на потрепанные столики и банкетки, то взлетала в унисон со скрипом входной двери. Несколько выцветших мужчин склонились над чашками с остывшим кофе. Стены были увешаны старыми фотографиями и плакатами творческих вечеров, давно канувших. По-моему, никто из присутствовавших о них не помнил. Ничего не знала о них и молоденькая официантка. Стены и перегородку украшали еще и рисунки, не имеющие ни смысла, ни значения, какими художники, бывает, расплачиваются в подобных заведениях.

А когда-то это место было знаменито. Очень знаменито. Тут пели, бузили, скандалили и пили в долг. Шли сюда, как на работу, и работали — писали, рисовали, обдумывали, обсуждали. Еще в ранних семидесятых тут гремели отголоски боев между маститыми ивритскими поэтами старого поколения и молодыми поэтическими нахалами. Но к моменту моего визита все это было уже в прошлом. Как и старая любовная история, некогда всколыхнувшая тихие воды провинциальной Палестины. Может, среди нынешних посетителей и затесался чудак, приходивший сюда в тридцатых годах, чтобы ухватить дуновение того романтического сквознячка, который местные люди решили считать великой тель-авивской любовью? Может быть. Но угадать, с кем именно из присутствовавших нужно завести об этом разговор, я не смогла. А по слухам и писаным текстам дело было так.

Александр Пен, или Абраша Папликер-Штерн, родился то ли в 1905, то ли в 1906 году. Возможно, это случилось в Нижне-Колымске, а может быть, в Мелитополе, но не исключено, что и в Пятигорске. Если это произошло в Нижне-Колымске, то родила его субботница, дочь шведского графа Йенсена, охотника на белых медведей, который постановил: «Раз ребенок родился в моем иглу (sic!), в нем и будет расти» (из воспоминаний о рассказах самого Пена). Потом деда задрал белый медведь. Перед смертью старик дал внуку адрес, и десятилетний Санька семь лет болтался в компании беспризорников по России в поисках отца.

«Зибн из а лигн», — гласит идишская пословица. «Семь — значит, вранье».

Профессор Хагит Гальперин, сделавшая научную карьеру на расследовании биографии Пена, так резко не высказывается, но предлагает другие варианты. Самый достоверный из них, опирающийся на документы, полагает, что родился Абраша Папликер-Штерн в местечке Акимовка под Мелитополем в семье меламеда и учителя иврита. Меламедом и учителем иврита был и его дед. Что до матери, тут есть несколько возможных вариантов. Самый простой: меламед был женат дважды. У него были дети от первой жены, а Абраша был от второй, которая, по некоторым документам, была жива еще в 1927 году, поскольку ездила к Леопольду Сосновскому, старому большевику и редактору «Правды», хлопотать за сына, высланного в Среднюю Азию за сионизм.

Биограф все же не решается полностью отринуть версию с матерью-субботницей, дочерью шведского графа, подцепившей мелитопольского меламеда почему-то в университете Вены, где ее превосходительство изучала медицину. Что делал в стенах этого заведения меламед, неясно. Другая версия, придуманная тоже самим Пеном, говорит о домработнице-нееврейке, якобы родившей от меламеда двух внебрачных детей и скоропостижно скончавшейся. Однако документы позволяют проф. Гальперин все же предположить, что Абраша рос дома при маме и папе, а ощущение раннего сиротства приобрел, глубоко вжившись в биографию любимого им поэта Лермонтова, который отвечает также и за Пятигорск. Что до деда-шведа, то фамилия Йенсен — это анаграмма фамилии Есенин, поэтического предтечи поэта. А Колыма, белые медведи и имя Александр позаимствованы у известного сиониста Александра Зайда, с которым Пен дружил и выпивал.

По поводу псевдонима мнения опять же расходятся. То ли это первая и последняя буквы от «Папликер-Штерн», то ли псевдоним старшего брата-революционера, то ли сокращение фамилии Пушкин, а возможно, все это вместе и разом. Ну а семилетнее бродяжничество, скорее всего, появилось под влиянием фильма «Путевка в жизнь».

В качестве примера того, как все это могло испечься в поэтической колбе на алхимическом атеноре символического мышления, приведу свидетельство одного из израильских друзей Пена по фамилии Саарони. Как-то вечером поэт рассказал ему, что в полдень того же дня он якобы несся без седла на породистом жеребце по улице Алленби, как некогда носился по сибирским просторам. Однако именно в это время дня Пен сидел рядом с Саарони в кинотеатре на улице Алленби, где крутили фильму с конными скачками.

Годам к семнадцати Пен оказался в Москве, куда переехала и его семья. Известно, что жил он то дома, то в гостях. А гостевал Пен якобы рядом с Есениным и Маяковским, высоко ценившими его стихи. Но почему-то ни Пена, ни Папликера, ни Штерна не видно ни на фотографиях тех лет, ни на афишах поэтических вечеров. Зато достоверно известно, что Пен обучал сионистов боксу. Был ли он сам сионистом, сказать трудно. Закончилась эта тренерская работа печально: молодой человек был арестован и в числе других сионистов выслан в Среднюю Азию.

Спасла его то ли Пешкова, являвшаяся главой русского отделения Красного Креста, то ли родная мать, знакомая со старым большевиком Сосновским, то ли судьба-злодейка, решившая послать внука шведского графа в Палестину против его воли. Правда, есть сведения, что сделал это сам внук, выкрав сертификат, предназначенный другому.

Как бы то ни было, попав в Палестину в 1927 году, молодой человек поначалу загорелся сионистской идеей и стал писать стихи на иврите, языке, который он, скорее всего, знал с детства. Напомним, что и дед, и отец поэта преподавали иврит, а отец даже писал на иврите стихи. Но Пен, поначалу вроде не отрицавший заведомого знания иврита, позже стал утверждать, что выучил язык уже находясь в Палестине.

В подражание любимому Маяковскому он занялся коммунистическим агитпропом, не возымевшим влияния на окружающих. А в перерывах писал лирику, превратившуюся в песни, любимые израильтянами по сей день. Затем он боролся с сионистами как коммунист и воевал с коммунистами за свободу творчества как свободомыслящий поэт, а главное — страдал от диабета и беспробудно пил.

Что до Ханы Ровиной — тут все четко, откровенно, просто и сурово. Родилась в 1893 году в местечке Березино под Минском. Мечтала стать воспитательницей в детском садике. В Киеве ее не прописали, поэтому пришлось поступить в Варшаве на учительский семинар для знающих иврит. Там Ровину и обнаружил Нахум Цемах, основатель первой «Габимы». Важнейшим фактором приглашения ее в театр было знание иврита. На актерский талант Хана не претендовала. В 1914 году она наконец согласилась выйти на сцену, но театр Цемаха вскоре прогорел. К тому же началась война. Ровина очутилась в Москве, как и Цемах. К ним присоединился Менахем Гнесин, и троица решила создать новую «Габиму».

Договор заключили по всем правилам, вписав пункт о том, что служение музам требует жертв, поэтому никто из создателей не волен вступать в брак. Договорившись о главном, послали

Цемаха к Станиславскому. Цемах напомнил Константину Сергеевичу о долге российской культуры перед евреями, оставившими собственную культуру, чтобы трудиться на ниве русской, и потребовал возместить убытки. Станиславский усмехнулся и дал ивритскому театру в режиссеры своего ученика Вахтангова.

Именно в это время Константин Сергеевич переживал творческий кризис. Он перестал играть сам и повернул в режиссуре от символистской «Синей птицы» к реалистическому психологическому театру. Его ученик Вахтангов был талантлив, но склонен как раз к той линии экспериментального театра, от которой Станиславский отходил. Поэтому как назначение Вахтангова, так и отмеченная Цемахом грустно-саркастическая улыбка могли означать нечто иное, нежели недоверие к перспективам еврейского театра на иврите в городе, где этот язык знали единицы.

«Габима» стала одной из экспериментальных студий МХАТа. Постановки хвалили. А мистическая пьеса Ан-ского «Дибук», поставленная Вахтанговым на надрыве, изломе и крике, принесла Ровиной поначалу российскую, а затем и мировую известность.

Но это не значит, что «Габима» презрела знаменитую систему Станиславского. Ни в Москве, ни потом в Тель-Авиве. Напротив. Как-то я сидела в модном в восьмидесятых годах кафе «Габимы» и внимательно прислушивалась к громкому разговору за соседним столиком. Старый актер «Габимы» Шломо Бар-Шавит наставлял молодых в системе Станиславского. «По этой системе, — говорил он, высоко подняв указательный палец, — нужно не только играть, но и жить. Что бы вы ни делали, продумайте свою роль, вживитесь в нее и играйте ее до конца. Живите, как в театре, и играйте, как в жизни!» Если бы я вмешалась, предположив, что Бар-Шавит говорит скорее об эстетстве, меня бы не поняли, но немедленно поставили на место. О «системе» в стенах «Габимы» по сей день разрешается говорить только хорошо.

В «Дибуке» Ровина играла Лею, невесту, в которую вселился злой дух. Она вовсе не должна была играть эту роль и не претендовала на нее. Но Шошана Авивит, кладезь таланта и красоты, вдруг ушла из труппы в самом разгаре репетиций. Огорченный Вахтангов окинул труппу взором, после чего сказал: «Пусть попробует она!» — и показал на Ровину, занятую в эпизодической роли. Так она стала ивритской Сарой Бернар. Замуж она все же вышла, несмотря на запрещающий пункт договора. За Галеви, артиста труппы. И вскоре изменила ему со знаменитым мхатовцем Леонидовым. Галеви уехал в Палестину. Ровина осталась в Москве. Вскоре они развелись.

А в 1928-м Ровина уговорила большую часть «Габимы», гастролировавшей в США, не возвращаться в Москву, где у театра все равно не было будущего из-за проделок Евсекции, и переселиться в Палестину. Так появилась палестинская «Габима», которая с созданием Израиля стала национальным театром.

Трудно себе представить, что Пен, очевидно все же знавший иврит с детства и, по его собственным утверждениям, вертевшийся в свите Есенина, порой обеспечивая последнему рубль на опохмел, не посещал закулисье «Габимы». Так же трудно представить себе, что Ровина, одна из основательниц «Габимы», ставшая примадонной и любовницей самого Леонидова, станет обращать внимание на мальчишку-боксера, сочиняющего стишки. Да и разница в возрасте между ними была лет пятнадцать, не меньше. Так что можно предположить, что в Москве они знакомы не были, но слышать друг о друге могли. Зато в Тель-Авиве тридцатых годов Пен уже был общественной фигурой. К тому же у них было много общего во взглядах на мир, на себя и на искусство.

Пена описывают как сказочного принца, обладавшего неотразимым обаянием. На сохранившихся фотографиях он и впрямь очень хорош собой. Красив лицом, белозуб, высок, широк в плечах, силен и мужествен. Девицы должны были сходить с ума, и они сходили. Но он еще в Москве полюбил юную красавицу Бэллу Дон. Она не хотела выходить за него ни там, ни потом, в Палестине. Пен грозил ей самоубийством и даже выстрелил в себя, соврав потом, что это сделали арабы. За вранье и самострел его выгнали из кибуца, зато Бэлла не устояла. В 1928-м у четы Пен родилась дочь Зрубавела, а в 1931 году появился сын Адам. Мальчик умер в тот же год, и Пен начал пить. Было ему примерно 25 лет.

Тогда и случился знаменитый роман-скандал. Забеременев, Ровина решила делать аборт. Но Пен уговорил ее рожать, мотивировав это тем, что нерожавшая женщина никогда не сможет вжиться в образ матери по системе Станиславского. И Ровина родила в начале 1934 года. К этому времени их роман был полностью исчерпан, а продолжался он около двух с половиной лет. В больнице, где великая актриса умирала от послеродовой горячки, пугая ежеутренними сводками о своем состоянии весь еврейский ишув Палестины, Пен познакомился с молоденькой медсестрой, и Прекрасная Дама перестала для него существовать. Дочь он вообще не видел. А на медсестре потом женился.

Ровина выжила и жила до 1980 года. Пен умер в 1972-м. Его агитки никто не вспоминает. Зато лирику и декламируют, и поют. В этих стихах-песнях есть пошловатая сладость городского

романса, пересказ символистской тематики, лермонтовские демонические нотки и, разумеется, есенинская забубенность. Но иврит сделал с поэтикой Пена потрясающий трюк. Он поднял лирику в общем-то небольшого поэта на заоблачную для того высоту. Как такое случается? Я думаю, дело в том, что Пену, наряду с другими поэтами его поколения, достался язык, не знавший перегрузки и порчи в результате длительного и не всегда аккуратного обращения.

Правда, танахическая Песнь Песней, как и лирика испанского ивритоязычного «золотого века», продолжает парить над современной ивритской поэзией, но иврит сейчас другой. В создававшей его плеяде энтузиастов и поэтов Пен занял почетное место, поскольку играл с ивритом талантливо и изобретательно. Процесс произнесения его ивритских стихов доставляет, можно сказать, вкусовое удовольствие. К сожалению, при произнесении немногих сохранившихся русских опусов Пена язык и нёбо умоляют о пощаде.

Вот и вся история. На мой взгляд, то была не любовь, а пьеса, придуманная и сыгранная людьми, сформированными русским Серебряным веком. И системой Станиславского.

В конце восьмидесятых годов я подружилась с некоторыми людьми «Габимы» и была оштрафована билетом на постановку «Простой истории» по Агнону. Штрафовали меня за общую нелюбовь к системе в искусстве и к системе Станиславского в том числе.

Билет был в почетный восьмой ряд, что подсказывало необходимость каракулевой шубки, давно просившейся из шкафа на прогулку. Все шло чин чинарем, пока на сцене не решили иллюстрировать погром разрезанием пуховых подушек крестообразным движением бритвы. На этом театр, в сущности, закончился. Началась суматоха. Пух прилипал к потной коже, штапелю, шерсти, изделиям из хлопка и льна и, разумеется, к каракулю моей шубки и бархату шляпки. Я чихала, кашляла и чесалась не меньше и не больше, чем окружающие. К счастью, у меня не случился приступ астмы, как у моей соседки слева.

Следующий билет был в экспериментальную студию театра, расположившуюся в подвальчике. Летняя жара, камерная обстановка, первый ряд и предстоявший ужин в ресторане требовали легкого светлого платья. Давали, кажется, «Мессию» Йосефа Мунди; надеюсь, что память меня не подводит. Во всяком случае, мне обещали нечто концептуально-философское с экзистенциальным уклоном и экспрессивным исполнением. Всему этому комплексу, уверили меня знакомые лица, «Габима» умеет дать надлежащее обрамление в рамках системы. Станиславского,

если кто забыл, о чем речь.

Что происходило на сцене, я забыла. Помню только, что на всем протяжении пьесы гонялась за смыслом фраз и поворотов сюжета, не успевая следить за игрой актеров. Как-то ничто ни во что не складывалось, не трансформировалось и не переливалось. В результате мне так и не удалось понять, кто именно приставил сифон к ширинке — юноша в футболке, Иоанн Предтеча с бородой Черномора, Иисус в рубище или иудейский пророк. Возможно, они были в одном концептуально-философском лице, но кремовое платье из чесучи оказалось безнадежно испорченным. То ли сифон, из которого актер мочился на публику, давно не мыли, то ли воду покрасили чем-то фиолетовым, полагая, что воображаемая, но натуралистически мокрая моча Мессии не может быть цвета воды из крана. Я поклялась больше систему не проверять.

Но дружественные лица из «Габимы» никак не хотели угомониться. На сей раз, обещали они, речь идет о солидной постановке в духе кинотриллера, но с саркастическим флером. И мне по моей же просьбе прислали билет в последний ряд, до которого пух не долетает и сифон не добрызгивает. Зал был набит детьми и юношеством. И те и другие отчаянно шумели. Действие шло споро, но тут вдруг над самым моим ухом выстрелил пистолет-хлопушка. И я оглохла. Видела, как разбойники в ковбойских шляпах лихо понеслись вперед по проходу в зале, но не слышала ничего. Знакомый ухо-горло-нос потом решил проблему за три визита.

И тут я потребовала у знакомых лиц из «Габимы» билет в первый ряд на самый посещаемый спектакль.

С собой я несла: зонт против пуха или любой другой опасности с воздуха, сифон, наполненный водой, которым собиралась отбиваться от огня, воды и всего того, что может напасть на меня со сцены, и пистолет-хлопушку, которым следовало воспользоваться в конце перформанса, заключив его во фразу: «Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним». Или: «Так будет со всяким, кто еще раз подойдет ко мне по системе Станиславского». Но наиболее посещаемая постановка оказалась такой скучной, что я задремала, ничуть не смущаясь тем, что сижу в первом ряду. В конце концов, «Габима» начала нашу ссору первой.

Торт с вишнями

В середине шестидесятых годов я оказалась на практике в больнице маленького литовского городка, граничащего через неширокую речку с бывшим Тильзитом. Было странно сознавать, что непримечательный мостик представлял собой границу между некогда литовской Литвой и бывшей немецкой Пруссией. Впрочем, рассказывали, что мостик навели солдаты — те или эти, то ли во время наступления, то ли в разгаре бегства. И предсказывали, что Тильзит, переименованный в Советск, скоро снова станет Тильзитом, а близлежащий Калининград — Кенигсбергом. Разумеется, никто не предполагал, что бывшую Пруссию отдадут Западу. Но если бы восточные немцы попросили…

Восточная Германия, которая тогда называлась ГДР, то ли не попросила, то ли попросила плохо. Лежащие в развалинах бывшие прусские города со временем отстроили, заселили случайным людом и оставили в России. А летом, с которого я начала рассказ, мне удалось побывать в Калининграде. Он был в развалинах. На одной из центральных площадей среди груд кирпичей, смешанных с землей и человеческими экскрементами, возились одичавшие кошки. Посреди этого пустыря высилась доска объявлений, вокруг которой было людно. Я подошла в надежде разузнать, есть ли в городе нечто, похожее на столовую, еще лучше — гостиницу неведомственного значения, потому что из двух полуобщежитий-полуказарм меня уже выставили, объяснив, что проживать и питаться в них могут только моряки или представители соответствующих ведомств.

В толпе мне понравился пожилой человек в перелицованном твидовом пиджаке и лоснящихся брюках с тщательно заглаженной складкой. К сожалению, старик плохо говорил по-русски. Он был из уцелевших немцев, но после войны не смог покинуть родной город в беде, к тому же не чувствовал за собой никакой вины, потому что Гитлер ему изначально был не по душе. Я кое-как соединяла известные мне немецкие слова со словами на идише, а немец понимающе улыбался и отвечал по-немецки, вставляя русские слова. Приличных столовых он назвать не мог, но фрау Грета, в лучшие времена державшая знаменитую кондитерскую, подает бывшим постоянным клиентам кофе и пирожные в собственном дворике.

Фрау Грета напоминала отощавшую и одичавшую кошку, воспитанную в приличном доме. Одежда висела на ней, как на чучеле, и длинные сухие пальцы, непрестанно перебиравшие то

шарфик, то скатерть, то складку на юбке, постукивали друг о друга. Ее домик прятался в глубине вишневого сада. Был конец августа. Вишни висели пригоршнями там, где их еще не обобрали, и время от времени шлепались на землю с приглушенным аханьем. А-ах! В саду были расставлены пятиугольные столики, окруженные скамейками. Счетом три. Деревянные серо-бурые с желтыми пятнышками лишайника, как полагалось прибалтийской дачной мебели. За столиками сидели мужчины, похожие на моего знакомца. В таких же перелицованных твидовых пиджаках. И все ели торт с вишнями, запивая его пахучим кофе. Ах, что это был за торт с вишнями!..

Но обратимся к героине нашего рассказа. Она родилась в 1928 году в Кенигсберге в семье зажиточных негоциантов по фамилии Шлоссберг, что означает в переводе с немецкого «замковая гора». В 1933 году, когда к власти пришел Гитлер, Шлоссберги бросили все и уехали в Палестину. Поселились в Тель-Авиве. В 1943 году наша героиня, которой было тогда 15 лет, встретила Ицхака Рабина. В 1949 году они поженились. А в 1995-м, за несколько лет до золотой свадьбы, Лея стала вдовой первого израильского премьер-министра, убитого по политическим мотивам. В немалой степени ее стараниями он был превращен в национального великомученика. Но даже ей не удалось раскрыть тайну его гибели. Лея Рабин вспоминала: «Я услышала три коротких разрыва. Что это было? Хлопушка? Пистоны? Вдруг оказалось, что я стою одна и кто-то кричит: „Это было не по-настоящему“. После этого второй телохранитель втолкнул меня в следующую машину в ряду. Это была та же машина с телохранителями, что сопровождала нас от дома до демонстрации. „Кадиллак“ с Ицхаком, водителем Дамти и телохранителем Йорамом Рубином медленно отъехал. Затем отъехала машина, в которой сидела я. Мы поехали мимо толп, по улицам, не останавливаясь на красный свет. „Куда мы едем?“ — подумала я. Я не видела ни „кадиллака“, ни других машин с охраной. Я полагаю, ребята сами не знали, куда мы едем. Снова и снова я спрашивала их: „Что случилось?“ — и каждый раз они отвечали мне: „Это было не по-настоящему“».

Крики «это не по-настоящему!», точнее, «стреляли холостыми!» слышала вся страна, сидевшая в эти минуты перед экранами телевизоров, поскольку несчастье случилось в конце широко разрекламированного митинга в защиту мирных соглашений в Осло, в эффективности которых к тому времени вроде бы сомневался и сам Ицхак Рабин. Так утверждал бывший начальник Генштаба Дан Шомрон во время гораздо более поздней телепередачи, в которой я принимала участие. Говорил он это

членораздельно, в микрофон, ничуть не пытаясь скомкать сказанное или подвергнуть его сомнению. Тогда, на рубеже 1999 года, это еще считалось ересью. Сейчас мнение политологов-международников, согласно которому Соглашения в Осло в силу их несовершенства изначально не могли привести к миру между Израилем и палестинцами, распространилось столь широко, что стало почти неоспоримым. А требование повторного следствия по делу убийства Ицхака Рабина по причине целого ряда нестыковок в первоначальной версии продолжает висеть в воздухе.

Лея Рабин была заинтересована в дополнительном следствии, но при этом до конца своих дней продолжала клеймить и люто ненавидеть людей, признанных виновными в смерти мужа. Так же яростно она продолжала настаивать на реализации Соглашений в Осло. Создавалось ощущение, что мирный процесс — не политическое приключение, предпринятое ее вечно колеблющимся и усиленно рефлексирующим покойным супругом, а дело жизни самой Леи. Ей удалось заставить правое правительство выделить солидную сумму из бюджетных денег на строительство Центра имени Рабина, музея и места встреч единомышленников, настроенных на продолжение мирного процесса всеми возможными и невозможными способами.

В самый разгар кампании по сбору средств на этот центр меня пригласили на заседание, посвященное увековечению памяти убиенного премьер-министра. Народу было много. В основном представители левого лагеря, журналисты, писатели, историки и политики. Пригласили меня как специалиста по «русскому голосу». Присутствующие очень хотели присоединить этот «голос» к общему потоку славословия Рабину и действиям в поддержку мирного процесса. «Голос» в большинстве своем сопротивлялся и тому и другому.

Опрашивали по очереди. Когда подошла моя очередь, Лея Рабин, сидевшая во главе стола, повернулась всем телом и подняла на меня тяжелый, недоверчивый и хмурый, но с оттенком ожидания взгляд. Она выглядела совершенно безупречно, ее можно было принять за киноактрису, исполняющую роль вдовы премьер-министра. Ни один волосок не шептался с ветерком, поднятым вентилятором, ни одно движение не казалось лишним, жемчужные бусы лежали на груди так ровно, словно их только что поправила заботливая костюмерша. «Почему ваши люди ведут себя оппозиционно?» — спросила вдова хриплым голосом. В тоне вопроса затаились обида и гнев, сдобренные толикой презрительного превосходства.

Мне показалось, что я попала на проработку общим

собранием с участием партактива. Ответ, впрочем, был готов заблаговременно. «Канонизация Рабина-мученика слишком напоминает культ личности, чтобы увлечь публику, бежавшую из бывшего СССР. Кроме того, исторический закон „Sic transit Gloria mundi“ позволяет предположить, что даже Юлий Цезарь был бы со временем забыт, если бы не Шекспир. И если современного Шекспира найти не удается, лучше оставить этот вопрос на усмотрение потомкам». Установилось недолгое молчание. Лея смотрела на меня исподлобья, но не враждебно. Потом покачала головой, отказывая времени и провидению в доверии.

Умерла она в 2000 году. Не знаю, как бы сложилась судьба ныне прозябающего мемориального центра имени ее мужа, живи Лея по сей день. У нее было странное, почти гипнотическое, влияние на окружающих. Ее боялись ослушаться, но по большому счету не любили. Не любили настолько, что, когда она заявила о своем желании покинуть Израиль в связи с тем, что правые пришли к власти, был объявлен всенародный сбор средств на ее отъезд. Пошел слух, что дело идет споро и жертвуют охотно. Лее пришлось выступить с квазиизвинением по поводу того, что ее слова якобы были плохо поняты. Тогда же вновь всплыла история с золотой брошкой. И снова пришлось оправдываться и отрицать то, что в 1994 году вызвало один из скандалов, связанных с женой премьер-министра. Якобы во время торжественной церемонии подписания мирного договора с Иорданией Лея Рабин потеряла золотую брошь. И тысячи солдат элитных войск были специально доставлены на этот пограничный участок перетряхивать песок. Брошку, по слухам, так и не нашли.

В интервью, взятом незадолго до смерти Леи Рабин, журналистка газеты «А-Арец» Тамар Авидар не постеснялась спросить в лоб: «За что вас не любят?» «Меня не любят на блошином рынке в Яффо, — ответила Лея, — но это вопрос политики. Зато в моем супермаркете в Рамат-Авиве ко мне относятся замечательно». Можно интерпретировать этот ответ двояко: как высокомерную наглость и как чистосердечный ответ человека, для которого мнение окружающих о нем, а тем более мнение улицы не имеет большого значения. Отметим, что Яффо считается городом неашкеназской бедноты, традиционно правой в политическом плане, тогда как Рамат-Авив является оплотом либеральной элиты.

Она была женой офицера, генерала, начальника Генштаба, посла в США, министра и премьер-министра, нобелевского лауреата. И она стоила ему недешево. Одевалась в бутиках от Диора и де ла Ренты и держала в доме высокий европейский стиль, как подобает генедике фрау из хорошего прусско-

еврейского дома. Между тем ее свекровью была Красная Роза, мать Ицхака Рабина, знаменитая суфражистка и социалистка. Можно себе представить силу этого семейного противостояния… В семидесятых годах израильтяне жили бедно и возводили скромность в принцип — держать валютные счета за границей запрещалось под страхом тюремного наказания. Но Лея Рабин, став из жены посла Израиля в США женой премьер-министра, не стала закрывать посольский валютный счет в американском банке, хотя и обязана была это сделать. Более того, она свободно этим счетом пользовалась.

По нынешним подсчетам журналистов, в апогее этого скандала на счету лежало 60 тыс. долларов. Когда скандал разразился, публиковали гораздо меньшие цифры, словно не верили самим себе: 60 тыс. долларов в 1977 году в глазах среднего израильтянина были неслыханным богатством. После того как статья об американском счете премьер-министра была опубликована в газете «А-Арец», Ицхак Рабин подал в отставку. Вскоре, правда, он снова оказался на гребне политической волны. Говорили, что самому Рабину вовсе не нравится работать политиком. Он и сам утверждал, то ли в шутку, то ли всерьез, что с большим удовольствием работал бы агрономом. Сплетничали о том, что Рабин всегда был и оставался ведомым, а дергала за ниточки она, Лея. И что не будь ее, не было бы и того Рабина, которого знает история.

Примерно через пять лет после гибели Рабина я встретила ее на приеме, который давал в своей резиденции тогдашний премьер-министр Эхуд Барак в честь приезда Хиллари Клинтон с дочерью. Почтенные гости выглядели… скажем так: они выглядели обыденно, хотя было заметно, что старались выглядеть роскошно. А вот Лея Рабин была безупречной в темном платье бессмертного диоровского кроя, украшенном одной ниткой крупного и ровного жемчуга. И надо думать, тогда она уже была смертельно больна. Толпа приглашенных мягко огибала ее, возвышавшуюся, как символ естественной элегантности и того, что можно назвать «комильфо», в точном переводе: «так, как полагается». Огибала, жадно разглядывая и раздраженно восхищаясь.

Ее называли первой леди Израиля и тогда, когда она еще или уже не была женой главы государства. В ней было что-то от королевской представительности. Есть фотографии, на которых Лея выглядит ровней Жаклин Кеннеди. И фотографии, на которых Бетти Форд рядом с ней кажется расплывшейся домохозяйкой. Мне лично больше всего нравится фотография, на которой бегущая рядом с Леей Рабин Хиллари Клинтон схожа со

стюардессой, сопровождающей важную гостью к трапу. Между тем женское соперничество между первой леди США и женой израильского посла, а пусть даже и премьер-министра, могло считаться вызовом и иметь неприятные политические последствия.

Как-то, в самом начале моей израильской жизни, меня попросили послужить гидом группе жертвователей из США. Я должна была провести группу по кардиологическому отделению, делая особый упор на оборудовании с медными табличками. На табличках усилиями бывшего йеменского ювелира, ставшего больничным мастером на все руки, были выгравированы имена толстосумов, на чьи деньги это оборудование куплено. Я выполняла серьезное поручение, ведомая чувством тяжелой ответственности. И очень старалась показать все, не забыв ни одной медной таблички.

«Послушай, — отвел меня в сторону один из жертвователей, — я сам кардиолог из Кливленда. У нас такого оборудования еще нет. Думай, что показываешь, тебя же предупредили, что в группе много врачей. Если хочешь, чтобы жертвователи вытащили чековые книжки, не показывай, что есть, а рассказывай, чего у вас нет. И лучше, если положение окажется катастрофическим». «Разве ты, еврей, не хочешь, чтобы в Израиле все было лучше, чем в любом другом месте мира?» — удивилась я. Он задумался. «Все же послушайся меня, — попросил жалобно. — Я не уверен, что другие думают, как ты и я».

Проведем параллель: нищий Израиль, выпрашивавший у США оружие, кредиты, ссуды и банковские гарантии, не должен был, согласно вышеупомянутой логике, одевать жену посла и даже премьер-министра так же, как одевал свою жену мультимиллионер Онассис. Но Лея Рабин не считала, что израильтянка должна уступать хоть в чем-нибудь какой-то Онассис. Я уверена, что и в довоенном Кенигсберге евреи не считали, что их жены должны уступать, например, жене бургомистра или другого влиятельного пруссака. Впрочем, известно, что та же психология главенствовала в средневековой Венеции, в связи с чем еврейки из знаменитого гетто порой выглядели роскошнее герцогинь. Сохранились документы, согласно которым совету гетто пришлось принять суровые меры, чтобы унять честолюбие собственных дам, поскольку жены знатных венецианцев не желали мириться с подобным нахальством и грозили погромом.

В первые десятилетия существования государства о внешнем виде израильского представительства заботились многие. В том числе Рут Даян, которая, правда, не сподобилась стать женой

посла и премьер-министра, но женой народного и международного героя, генерала, начальника Генштаба и министра была. Рут родилась в Хайфе и была предана идее создания нового еврея, не желающего пользоваться никакими заимствованиями времен галута. Этого еврея следовало одеть в нечто, проистекающее из местных обычаев Палестины и ретро двухтысячелетней давности. Ни фотографий, ни даже рисунков этого ретро, разумеется, не сохранилось. Его следовало создать. За основу решили взять типичные элементы одежды местных палестинских племен и традиционных нарядов и украшений йеменских евреев. Считалось, что именно это, затерявшееся в Африке, иудейское племя наиболее ревностно хранило обычаи предков, в том числе танцевальный шаг, музыкальные ритмы и форму одежды танахического периода.

В 1954 году Рут Даян открыла производство израильской национальной одежды «Маскит». В ее мастерских йеменские евреи нашли себе пропитание, занимаясь традиционным делом: созданием ювелирных украшений, вышивкой и ткачеством. Израильская мода использовала форму бурнуса для женского платья намного раньше Аллы Пугачевой. Свободные накидки и балахоны, прихваченные в запястьях широкими и тесно прилегающими манжетами, вышитыми вручную или инкрустированными поделочными камнями, стали обязательным элементом представительского костюма. Наряду с тяжелыми серьгами, звенящими монистами, большими нагрудными украшениями. Образцом хорошо одетой израильтянки этого фасона считалась, например, певица Шошана Дамари. Но Лея Рабин никогда ничего подобного не носила.

Она не демонстрировала и модного тогда среди уроженцев страны кнаанского направления мысли, отрицавшего любые изыски европейской культуры, якобы извратившей еврейскую мысль. Напротив, Лея Рабин твердо и последовательно пропагандировала европоцентристское сознание. Она одевалась на европейский манер, вела себя так, как это принято в лучших домах Европы, и славилась своими кулинарными умениями, основанными на принципах европейской кухни. Я обнаружила рецепт вишневого торта, предложенный Леей Рабин читательницам израильского женского журнала. Привожу его так, как он был напечатан.

Тесто: 2,5 стакана самоподнимающейся муки, 100 г маргарина или масла, цедра апельсина, конвертик ванильного сахара, желток яйца № 2, 2 ст. л. сметаны, 2

ст. л. сахара, 2 ст. л. коньяка. **Начинка**: большая банка вишневого компота (импортный, есть во всех супермаркетах), 1 картон сливок (250 мг), 2 полные ст. л. ванильного пудинга (в простой пластиковой упаковке, не инстант), 2 ст. л. сахара. **Способ приготовления теста**: из всех составных частей сделать тесто — руками или в миксере. Разделить надвое. Выстлать пергаментной бумагой две круглые формы для выпечки диаметром 26 мм, выложить на каждую по половинке теста. Выпечь. **Приготовление начинки**: пропустить компот через сито. Из вишен вынуть косточки. (Проверить — все ли косточки вынуты.) Прокипятить в кастрюльке компотную жидкость, добавляя воду, пока не получится 2 стакана сиропа. Добавить ложку сахара. Развести пудинг в небольшом количестве воды, хорошенько размешать и влить в уже прокипяченную компотную жидкость. Кипятить, пока не загустеет, непрерывно помешивая, и как следует охладить. Взбить сливки с одной ложкой сахара. **Составление торта**: положить один испеченный круг торта на блюдо. Облить его сваренным пудингом. Разложить поверху вишню, из которой вынуты косточки. Покрыть взбитыми сливками. На взбитые сливки положить второй испеченный круг торта. Поставить в холодильник. Вытащить за два часа до подачи. Обсыпать сахарной пудрой. **Примечание**: можно взбивать сливки не с простым, а с ванильным сахаром. Можно извлечь из холодильника не за два часа, а за час до подачи.

Хотелось бы обратить внимание читателя на дотошность и авторитарность кулинарных советов. Особенно тех, что относятся к вишневым косточкам. Могу свидетельствовать: следуя рецепту неукоснительно, добиться положительного результата нетрудно. Торт вкусный. Полагаю, что я уже ела его раньше, но не в Израиле, а в Кенигсберге. В вишневом саду у фрау Греты. Правда, вишни там были не из компота.

Тетя Фрида, Бродский и Леонард Коэн

Проблемным ребенком в семье была не я, а тетушка Фрида. Если она что-нибудь вбивала себе в голову, выбить вбитое считалось невозможным. В 1958 году, когда мы еще жили в Литве, польским уроженцам разрешили уезжать в Польшу. Тетя Фрида была уверена, что она — польская уроженка, но выяснилось, что перед самым ее рождением границу передвинули в очередной раз и родилась она в Литве. А все потому, что местечко Копчево стояло на стыке государственных границ, которые прыгали туда-сюда. Однако, раз тетя Фрида решила уехать, не в ее правилах было изменять своим решениям. За золотой рубль, который тетушка всю войну проносила на груди, ей удалось купить себе фиктивного мужа-поляка, уехать в Варшаву, а оттуда в Израиль и там попасть в кибуц. До войны ее именно к этому готовили на специальных курсах, которые назывались «ахшора».

Тетин кибуц располагается недалеко от Гедеры. Маленькие белые домики с красными черепичными крышами утопают в зелени и цветах. Тетушка и ее муж жили вдвоем в двухкомнатном домике, а четверо детей тетушкиного мужа разъехались кто куда. В те времена кибуцники еще считали предателями всех, кто оставил кибуц. Даже члены кнессета приезжали по субботам каждый в свой кибуц мыть тарелки после обеда. Но дети мужа моей тети этого не делали. Несмотря на это, их отца, Даниэля, в кибуце все равно любили. Он отвечал за работу с добровольцами, отдавая всю душу и все силы своему делу.

Добровольцы были двух видов — евреи и покаянцы. Покаянцы приезжали, в основном, из Германии и Северной Европы, рассказывали про папу или деда-эсэсовца, проливали по этому поводу видимые и невидимые слезы, и кибуцники их любили. А евреи были родом из галута, обычно не собирались оттуда уезжать и приезжали так, на короткое время, приобщиться к национальному подъему. Этих кибуцники презирали. Но моя тетушка, ставшая героиней кибуцного труда, о чем написала в боковой колонке газета «Давар», думала иначе. Она всегда думала иначе. И она не хотела, чтобы эсэсовское семя сидело в ее кресле, пило из ее стакана и ело ее вилкой. А галутных евреев тетушка как раз жалела и привечала. «Когда-нибудь, — объясняла она, — их выгонят из дома, отведут на плац и убьют. А они будут плакать и вспоминать, что могли спастись и жить сейчас в кибуце

припеваючи».

Тетушкины чувства разделяла только ее соседка родом из Риги, пережившая гетто и концлагерь. Остальные кибуцники, конечно, читали или слышали о фашистских зверствах, но не полностью в эти россказни верили. Даниэль же рассказам жены и соседки верил, но и в раскаяние эсэсовского семени он тоже верил. И если он уж никак не мог не притащить домой очередного добровольца-покаянца, тетушка уходила на время этого визита к соседке-рижанке. Они усаживались в шезлонги на веранде и провожали покаянцев злобными взглядами. Я вспомнила о тетушке в Войну Судного дня, когда больницу заполонили евреи-добровольцы. Ни одного покаянца среди них не было.

Почему, собственно? «Потому, — объяснил Даниэль, — что работа в кибуце — одно, а война — другое». Война, настаивал он, это сугубо личное гражданское дело нации. Я напомнила ему про добровольцев, отстаивавших республиканскую Испанию. «Если бы чужаки не лезли в то дело, — пробурчал Даниэль, — испанцы обошлись бы гораздо меньшей кровью». Он знал про эту запутанную историю что-то, о чем не знала я, но говорить об этом отказывался. Впрочем, никто бы и не позволил покаянцам воевать нашу войну. Даже еврейским добровольцам из галута неохотно позволяли вмешиваться в сугубо личное гражданское дело израильтян.

Шимон Маркиш, хорошо знакомый с Иосифом Бродским, рассказал мне сначала по дружбе, а после повторил в газетном интервью, что отношения поэта — нобелевского лауреата — с Государством Израиль далеко не всегда были плохими. Испортились они в 1973 году, когда Бродский пришел в израильское посольство в США и потребовал призвать его добровольцем на Войну Судного дня. Поэту (тогда еще не лауреату) отказали в грубой форме, после чего он исключил государство евреев из поля зрения и круга интересов. Почему отказали?

Возможно, это было в самом начале войны, когда израильтяне, находившиеся за кордоном, слетались домой со всех концов света. Они летели шумными стаями, скандалили у билетных касс в разных аэропортах мира, пытались пробраться незамеченными мимо стоек аэровокзалов (тогда еще порядки в этих цитаделях не отличались особой суровостью) и были готовы платить втрое за билет и даже за безбилетное место. Всем им было необходимо попасть на войну, а самолетов и мест в них, даже стоячих, не хватало. Напомню, что самолеты чужеземных компаний не любят летать над войной, а тем более садиться на

летные поля, которые могут подвергаться обстрелу. Поэтому летали в основном на самолетах израильской авиакомпании «Эль-Аль».

Прилетавшие тут же уходили в свои части, иногда прямо из аэропорта. Но многие были откреплены от армии в связи с учебой или работой за границей, и призыв на них не распространялся. Они все равно прилетали и шли воевать добровольно. Один такой доброволец приземлился в нашем отделении, что было очень кстати, поскольку все старшие врачи ушли — кто на фронт, кто в послеоперационные палаты, а гражданское население между тем продолжало страдать от инфарктов и кровавых колитов. От менее серьезных заболеваний оно на время войны страдать воздерживалось. Даже диабетики и астматики старались не попадаться больничным врачам на глаза, но мы все равно падали с ног. Лишняя пара рук была спасением.

Паренька тут же назначили стажером, но он и не думал оставаться в тыловой больнице. Мы ублажали его яичницей с помидорами и перцами, называемой «шакшука», и уговаривали не дезертировать на передовую, поскольку настоящая передовая — здесь. Но наш стажер вообще не хотел врачевать. Он очень разозлился на египтян и сирийцев и хотел наказать их лично, что называется, своими руками. А для этого ему нужно было вернуться в свою танковую часть, ту, в которой он служил до поступления на медицинский факультет Болонского университета, окончить который помешала война. У стажера были обширные связи в армии, очевидно, благодаря папе и маме. И он без конца куда-то звонил, терпеливо дожидался ответа, отсылавшего на другой номер, снова звонил, ждал, опять звонил и добивался согласия. Добился. И согласился подежурить ночь перед уходом на передовую. Подставить, так сказать, плечо.

Но тут на нас налетела Мими. Она числилась санитаркой, а была первоклассной знахаркой, спустившейся с Атласских гор две войны тому назад. Профессор Шиба позволил ей знахарствовать в отделении на том основании, что классическая медицина все равно делает тут свое дело и вреда от Мими быть не может. Мими лечила болезни, предсказывала их исход, а также предугадывала встречи, расставания и войны. Эту войну она тоже предугадала, но если уж Голда Меир не стала прислушиваться к предупреждениям иорданского короля, передавать ей предсказания Мими было пустым делом. И вот Мими потребовала, чтобы мы связали стажера по рукам и ногам, потому что смерть ходит за ним по пятам. И вообще — на войну нельзя идти добровольно. Это еще хуже, чем подарить любимому ножницы или дать подруге для примерки обручальное кольцо.

Я не проверяла статистически, как обстоит дело с добровольцами на войне, подвергаются они большей опасности или нет. Но наш стажер погиб в первый же день своего прибытия в часть. Говорили, что пуля была шальная. Можно подумать, что они бывают уравновешенными! А на следующий день наши дела на фронте пошли так плохо, что Мими повернула портретики Даяна лицом к стене. Сначала она развесила повсюду эти портретики и прикладывала к ним два пальца, как к мезузе, посылая одноглазому полководцу, на спасительные силы которого надеялась, воздушный поцелуй. А тут стала плевать на сложенные два пальца и прикладывать их к задней стороне картинок. Магическое действие помогло. Наступление египтян захлебнулось, сирийцев тоже. А портрет стажера, писанный маслом, потом какое-то время висел в библиотеке. Его явно рисовали с фотографии, снятой до поступления в Болонский университет. Совсем мальчишка. Впрочем, именно тогда он и был танкистом срочной службы.

Не знаю, был ли Леонард Коэн, знаменитый канадский певец и поэт, так же упорен, как наш стажер, но его желание приехать добровольцем на израильскую войну удовлетворили. В отличие от просьбы Иосифа Бродского. То ли у Коэна были знакомые в израильском консульстве, то ли консул или посол-кибуцник (тогда большинство работников израильского МИДа были из кибуцев) считал, что певец из Канады лучше развлечет солдат на передовой, чем опальный поэт-ленинградец. И то сказать: кому бы будущий нобелевский лауреат читал в ту войну на передовой стихи на русском языке?

Про участие Коэна в Войне Судного дня пишут все его биографы. «Дал концерт на передовой…» Не знаю, как они себе это представляют. Передовая в Синае — это не «на Западном фронте без перемен». Тут все кипело, все вертелось вперемешку, везде можно было наткнуться на арабов, стреляли отовсюду и из всего: из пушек, танков, засад, блиндажей и временных укреплений. Между тем концерты все же были, и не один. Так утверждает профессор из иерусалимской больницы «Хадасса». По словам этого солидного человека, бывшего во время Войны Судного дня сравнительно молодым врачом, Леонард Коэн действительно прибыл на передовую, где не знали, что с ним делать. Первой и главнейшей задачей было защитить знаменитость от всех случайностей войны. Во вторую очередь требовалось собрать в самом тихом месте сколько-то солдат, которым требовалась передышка или в которых не было острой надобности, чтобы создать певцу-добровольцу аудиторию.

Отметим, кстати, что Коэн тогда еще не был столь

оглушительно знаменит. Во всяком случае, большинство солдат ЦАХАЛа несомненно предпочитали ему Пупика Арнона и Ошика Леви, не говоря уж о Мати Каспи и красотке Илане Ровиной, поднимавших тогда наряду с Коэном дух солдат на Южном фронте. Как бы то ни было, наш профессор, тогда еще молодой военврач, обдумав поставленную перед ним задачу, решил прятать канадца по бункерам. Порой они пели исключительно друг другу, поскольку свободных солдат в безопасном месте в назначенное время не случалось. Надо сказать, что ныне уважаемый профессор является большим ценителем творчества Леонарда Коэна. А певец появился потом в Израиле только в 2011 году. Обиделся, что ли?..

В ту войну в больнице находились еще с десяток еврейских добровольцев из разных стран. Все они были раздражены безучастным, в лучшем случае, отношением местных людей к их добровольческому подвигу. «За что они меня не любят? — жаловалась специалистка по искусственной почке, прилетевшая из Парижа по отчаянному зову нашего главврача, поскольку армия мобилизовала обоих больничных нефрологов и отпустить хотя бы одного отказывалась. — Может быть, за то, что я хромаю?» Это звучало абсурдно. Да и не было никакой нелюбви. Просто доброволка не знала никакого языка, кроме французского, и договориться с ней было непросто.

А на второй день войны у больничных ворот выстроилась длинная очередь. Стояли в основном женщины. Все они надеялись стать временными нянечками или уборщицами, поскольку арабки, ранее исполнявшие эти обязанности, на работу не вышли. «Куда ты лезешь? — крикнула баба в плотно повязанном тряпичном платке даме в кашемировой блузке с ниткой жемчуга на шее. — Может, ты умеешь мыть полы? Может, от тебя тут будет какой-нибудь толк?» Дама деловито засучила рукав и показала обидчице цифры, выжженные в концлагере. Очередь загудела. А вдоль нее, припадая на кривую ногу, волочился молодой парень. Он хныкал и показывал очереди справку об освобождении от армии по инвалидности. «Мог бы работать на фронтовой кухне», — сухо произнесла пожилая тетка. «Вот именно!» — подтвердил старичок в панамке.

Голубой клавир

Когда профессор Теодор еще не был профессором, а только хотел им стать, мы с ним готовили кофе на больничной спиртовке. Вернее, готовил он и одновременно ругал меня и своих родителей «йеке», как называли тогда в Израиле уроженцев Германии, за привычку не отмывать финджан от кофейной гущи, прикипевшей к стенкам. Но дело не в кофе.

Я жила тогда в Израиле без году неделя и была принята в больницу на специализацию только по особому расположению судьбы.

Теодор обращался со мной лучше, чем добрая половина больничных туземцев, считавших самоочевидным, что я должна уступать им дорогу. В прямом и переносном смысле, поскольку являлась двойным дефектом мироздания: недавней иммигранткой и женщиной. А Теодор приглашал на кофе и рассказывал анекдоты на легком иврите. Но почему-то звал меня «Каренина». Раз за разом я объясняла, что не люблю эту героиню и не хочу, чтобы меня так звали, но он так ни разу и не захотел услышать мои возражения.

Не знаю, почему мне пришло в голову разреветься по этому поводу именно за варкой кофе, но я разревелась. Возможно, в тот день я слишком много раз уступала дорогу. А когда пришлось объясняться, ляпнула, что привязка к литературному имени обязывает, а привязка к этой толстовской малахольной еще и оскорбляет. «Господи! — воскликнул мой собеседник по-немецки. — Ты напоминаешь мне сумасшедшую Эльзу». Потом мне объяснили, что он, скорее всего, имел в виду поэтессу Ласкер-Шюлер, которая считалась в Германии великой, а тут сошла с ума и умерла.

Я ничего тогда не знала про Ласкер-Шюлер, но, услыхав про сумасшедшую Эльзу, смертельно перепугалась. Теодор не должен был знать про эту позорную историю моего детства. Мне должно было исполниться четыре года, когда папа привел в дом пленную немку. И объявил, что это — моя гувернантка. Любить ее необязательно, Эльза на этом не настаивает, но уважать придется. Ночевать она будет со всеми остальными военнопленными, а на день ее будут отпускать под папину ответственность.

Мама раскричалась, что уйдет из дома, если папа не уберет из него эсэсовку. Тетушки ее поддержали. А папа орал в ответ, что Гитлер отнял у него семью, родительский дом и нормальную жизнь, но никто не смеет отнять еще и Гёте с Шиллером.

Эльза приходила в шесть утра и тут же принималась меня

будить и готовить к обряду умывания и завтрака. Она таскала меня за волосы за малейшую провинность и заставляла тереть зубы под «айнс-цвай-драй», и так до пятидесяти. Потом я должна была считать сама, расчесывая волосы. Не помню, до какой цифры мы успели дойти. После этой муштры Эльза сажала меня к столу, подложив мне под ноги толстые тома русской и нерусской классики. Тогда выпускали такие издания для пролетариата: весь Флобер в одном огромном томе. Или весь Салтыков-Щедрин.

Впрочем, Эльзе наверняка было совершенно неважно, кто именно лежал у меня под ногами. Главное, чтобы я ими не болтала. Еще по одному тому она засовывала мне в подмышки — чтобы локти не касались стола и руки учились изяществу застольных манер. Разговаривать с горе-гувернанткой позволялось только по-немецки. По этой причине я и поняла, что сказал Теодор. По той же причине я еще в детстве решила, что не хочу знать немецкий язык принципиально.

Второй раз я услыхала про Ласкер-Шюлер от Макса, бомжа, проживавшего в подъезде на Алленби. В этом доме жила моя приятельница. Очень интеллигентный дом, сплошь заселенный одухотворенными людьми. Они подарили Максу новый матрац, на котором ночью он спал, а утром ставил его к стене. Еще они — жильцы — по очереди кормили бомжа завтраком и обедом. Ужин Макс оставлял врагу. Еду он брал, но есть в квартирах отказывался. И все свое возил по Тель-Авиву в маленькой тележке. По Ницше, объяснял, надо бы носить все свое на собственной спине, но сил уже нет. А от квартирки, выхлопотанной заботливыми жильцами у городских властей, отказался. Объяснил, что у него есть большая квартира, которую он закрыл, чтобы жить по закону Заратустры. И вообще он не живет, а дожидается священного часа, когда ему удастся воссоединиться с его возлюбленной Эльзой.

Макс рассказывал, как нежны и безбрежны были объятия его умершей возлюбленной, после чего выкрикивал ее стихи. По-немецки, разумеется. Особенно ему нравилось стихотворение, которое я перевела, записывая за Максом слова: «Когда глядим глаза в глаза, / Глаза — твои, мои — сияют <…> / И все вокруг — сплошная благодать, / Очерченная звездным кругом. / А мы летим, оставив этот свет. / Мы ангелы с тобою. Разве нет?»

Вообще-то огромный лохматый и согбенный Макс не был похож на канонического ангела, хотя Бог весть, как эти артефакты мироздания могут выглядеть. Не мог он быть и любовником Эльзы Ласкер-Шюлер, пусть она и записывала в фиктивные любовники чуть не каждого встреченного мужчину. Впрочем, документально подтвержденных возлюбленных у нее было тоже

немало. Но Максу к моменту нашего знакомства было около шестидесяти, так что он должен был родиться году в 1930-м, тогда как Эльза Шюлер родилась в 1869 году и умерла в 1945-м. Предположить, что поселившаяся в Палестине в 1939 году семидесятилетняя поэтесса могла соблазнить и свести с ума подростка, я не осмелилась. Решила, что Макс вселяет себя в придуманный образ, как это любила делать его платоническая вечная любовь.

Поэт Йеуда Амихай как-то сказал, что Эльза Ласкер-Шюлер была первой хиппи, которую ему довелось встретить. Другие источники утверждают, что по Иерусалиму бегала сумасшедшая старуха в несуразной шляпке и дырявых мужских ботинках, звеня монистами, серьгами и разными малоценными бирюльками, надетыми поверх лохмотьев. Что она просила милостыню и дралась с уличными мальчишками, пока не схлопотала то ли пневмонию, то ли разрыв сердца и умерла. И что старухой этой была великая Ласкер-Шюлер, поэтесса, получившая в 1932 году самую престижную германскую литературную премию — Клейстовскую.

«Нет! — возразила мне хозяйка антикварной лавки, в которую поэтесса якобы любила заходить. — Никогда она милостыню не просила. Если у нее были деньги, а они у нее бывали, милостыню давала. Одевалась, как настоящая богема, это правда. Но в старинном фарфоре и вообще в старинных вещах понимала. Рассматривала, любовалась и никогда не покупала». Лавка располагалась на улице, сбегающей от бывшего «Дженерали», здания со львами на фронтоне, расположенного неподалеку от нынешней мэрии, к подножию Старого Иерусалима. Называется она именем царицы Шломцион.

Находясь на этой площадке посреди Иерусалима, можно без труда представить себе Эльзу Ласкер-Шюлер. Вот она поиграла со старинным фарфором и серебряными побрякушками в антикварной лавке, после чего вышла на улицу, заслонив ладонью глаза от безжалостного иерусалимского света и, устроившись на ступеньках у одного из близлежащих домов, погрузилась в полудрему. Представим себе, что мы устроились рядом и погрузились в такую же магическую полудрему.

Находясь рядом с Ласкер-Шюлер, никогда нельзя было знать, кем именно она себя ощущает в ту или иную минуту. Царем Давидом, Буддой, Иисусом? Давно умершим братом или не так давно умершим сыном? Рано умершей матушкой, с обожаемым образом которой Эльза не хотела расставаться до конца жизни? А возможно, с одним из ушедших в мир иной или исчезнувших с ее глаз в этом мире возлюбленных. Или с Иосифом из Фив (он же

библейский Иосиф Прекрасный). Или с его спутницей — Тино из Багдада. Эльза писала стихи от имени двух последних, обуявших ее персонажей, когда, в самом начале страшного, но казавшегося в то время прекрасным XX века, разгуливала в невероятных ориентальных одеждах собственного изготовления по улицам буржуазного Берлина, по его модным богемным кафе, в которых собирались берлинские интеллектуалы.

Ах, «Романское кафе»! Ах, «Новый клуб!» Ах, «Неопатетическое кабаре», с придыханием внимавшее ее стихам! Ах, мужья — Бертольд Ласкер и Герварт Вальден, — носившие на руках это, похожее на эльфа, крохотное создание с огромными пламенеющими глазами, ставшее осью, вокруг которой вращался особый мир немецкого экспрессионизма. Или, скажем по-нашему, — мир немецкого авангарда, поэтического, театрального, художественного, музыкального. И — ах! — знаменитые имена немецких и не наделенных арийской кровью, но живших и творивших в Берлине начала XX века драматургов, художников, режиссеров, танцоров, актеров, знакомые нам по воспоминаниям очарованных современников! И уж конечно — ах! — страстно влюбленный в нее и такой понимающий друг Петер Халле, памяти которого она посвятила целую книгу.

Но то было еще перед первой мировой войной, когда мир был един, когда ее друзья-немцы, католики и протестанты, праздновали вместе с ней еврейские праздники, а она вместе с ними — христианские. Когда в ее книге «Мое сердце» Иисус, Будда, Гёте, Ницше, Гейне и, разумеется, возлюбленный Петер Халле — признанная звезда тогдашней берлинской художественной сцены — становятся взаимозаменяемыми. Однако те незабываемые времена прошли безвозвратно. И хотя время Эльзы двигалось прихотливо, убегая назад и выпрыгивая вперед по собственным законам, даже она не могла не заметить, как изменился вокруг мир.

Старые друзья и знакомые не встречались больше на улицах. Вместо них на тех же улицах появились страшные незнакомые лица. В 1933 году эти хари, напоминавшие маски инфернального карнавала, налетели на берлинской улице на нее, шестидесятичетырехлетнюю женщину семитской внешности, одетую в несуразное шмотье, и избили до полусмерти. За все. За еврейскую кровь, вырожденческое миролюбие, неарийские фантазии, утонченность манер и способа мышления и даже за красоту, звучность и образность немецкого языка, который, по мнению знатоков, звучит в произведениях Эльзы Ласкер-Шюлер, как волшебная флейта.

После этого случая испуганная Эльза бежала в Швейцарию.

Но еще в 1931 году она написала пьесу «Артур Аронимус». В 1932 году пьеса была напечатана в Германии, тогда еще было можно. Ставили ее уже в 1936 году в Швейцарии силами любительского театрального коллектива. Актерами были немецкие эмигранты, знавшие Эльзу по Берлину. И хотя в процессе постановки она не раз повторяла: «Нами правит один и тот же Господь Бог», когда дочь ее главного героя, Фанни, решает принять католичество и уйти в монастырь, мать говорит ей: «Веру не меняют, как накидку». А когда — уже не автор, а ее героиня — утверждает, что Бог един для всех, та же мать спрашивает: «Но зачем же тогда молиться ему в чужом доме среди чужих людей?» Сама Эльза никогда не отказывалась от своего еврейства и видела в нем источник особой гордости.

Но не стоит полностью совмещать Фанни с Эльзой, а Аронимуса с ее отцом. Несмотря на подзаголовок — «История моего отца», пьеса не является ни автобиографической, ни даже биографической. Не является она и полной фикцией. Таков был творческий метод Эльзы Ласкер-Шюлер. В письме к Мартину Буберу, с которым Эльза и переписывалась, и встречалась довольно часто, она защищает свое высоко персональное и глубоко субъективное видение мира и столь же эгоцентричный способ его описания, объясняя, что знает только одну — свою собственную — жизнь, поэтому только о ней и может писать с достаточной степенью авторитетности и авторитарности, необходимой писателю. А в качестве примера того, как именно она применяет этот свой метод, ставший в конце XX века достаточно обычным, но бывший весьма экзотичным в его начале, возьмем одно из самых известных ее прозаических произведений — «Книгу Петера Халле», написанную после смерти любимого друга. Итак, Петер Халле, главный герой книги, это действительно и без сомнения реальное историческое лицо, но он же одновременно — апостол Петр. А его наперсница — это, без сомнения, сама Эльза, выступающая под именем фантастического персонажа Тино из Багдада.

В сорока шести коротких сценах апостол и Тино путешествуют по горам и долам, встречая других, исторических и фантастических, персонажей, с которыми пытаются создать герметическую общину. Для чего? Для того, чтобы спрятаться от враждебного мира, их окружающего. Когда же апостол умирает, Тино уходит в себя, ускользнув таким образом от пугающей реальности. Внутренние приключения Тино уже в качестве затворницы в самой себе описаны в следующей книге Ласкер-Шюлер: «Ночи Тино из Багдада».

А теперь представьте себе столь красочный и необычный

персонаж на ступеньках чужого дома на улице Царицы Шломцион в Иерусалиме. Она — Эльза, называемая сегодня самым великим германским поэтом XX века, — вещь в себе, а не в Иерусалиме. Как и в любом ином месте на земле, впрочем, может, и на небесах. Ей не впервой спать на парковых скамейках, в странных и небезопасных пристанищах, в домах случайных людей. Она проделывала все это в благополучном Берлине начала века, когда проигрывала свою историю Тино или жила ею. Не впервой ей ходить в рубищах или экзотическом тряпье. А обвинять Иерусалим в гибели Эльзы Ласкер-Шюлер глубоко несправедливо.

Между тем именно невнимание к поэтессе со стороны неблагодарной Палестины вменяют — прямо или косвенно — нынешнему Израилю, которого, напомним, тогда еще в природе не было. Попробуем вдуматься в то, что происходило в мире и в стране, в которую Эльза Ласкер-Шюлер попала по собственному желанию, но из которой не смогла уехать назад, потому что Швейцария этого не захотела. Ей, Швейцарии, стране, с трудом удерживавшей нейтралитет в одуревшем мире фашистского бешенства, не нужна была немецкая поэтесса фантастического европейского авангарда. И никому другому в тот момент не нужен был этот авангард, получивший тогда и позже много имен — от неоромантизма, символизма, модерна и футуризма до декадентства и дегенеративa.

Книги Ласкер-Шюлер в фашистской Германии жгли. Никто из ее прежних друзей и единомышленников не остался на позициях, которые Амихай, пожалуй, верно определил как хипповские. Правда, хиппи появились спустя полвека, но кто знает, появились ли бы они вообще, если бы прежде по берлинским улицам не бродила Тино из Багдада, дитя цветов, пророчица всемирного мира и вселенской любви. В Швейцарии она еще находила себе привычную аудиторию, но во все суживающемся круге. А в Палестине круг был шире. Сюда приехало много бывших берлинцев-берлинеров и прочих немцев Моисеева вероисповедания.

Их называют пятой алией, алией «йеке», немецких евреев или евреев немецкой культуры. Таких было немало не только в самой Германии, но и в Прибалтике, Польше и бывших странах Австро-Венгрии.

Всего прибывших в Палестину в ранние тридцатые годы «йеке» и «йекеподобных» насчитали 260 тыс., из них 60 тыс. приехали из самой Германии. Самые видные, знаменитые и активные разошлись по существовавшим научным заведениям или создали свои структуры. Считается, что Иерусалимский университет, Институт Вейцмана и хайфский Технион созданы

немецкой профессурой. Им же приписывают создание основных музеев, введение современной агро- и зоотехники, престиж израильской медицины, появление серьезного книгопечатания, банковского дела и многого другого.

Правда, политические вожжи держала в своих руках русскоязычная община, так называемые «москали». Между ними и «йеке» отношения складывались непросто. Немецкие интеллектуалы искали новое воплощение старого и грозного еврейского Бога в реформизме, либерализме и научном прогрессе. А люди русской культуры, взращенные на народнических принципах, нашли себе нового Бога в Марксе, Ленине и Троцком. Или во Льве Толстом, Тургеневе и Горьком.

Для «йеке» Эльза Ласкер-Шюлер была своей, для «москалей» — неприемлемо чужой. Правда, некоторые «выпускники» российского Серебряного века тоже ходили на ее вечера. Как бы то ни было, аудитория тут была знакомой, привычной и дружественной. Потому Эльза и приезжала в Палестину не раз и не два, а целых три раза на протяжении трех лет. В последний раз — в 1939 году. А уехать уже не смогла.

«Йеке» продолжали оказывать ей должное внимание, хотя еврейскому ишуву было не до нее и не до искусства и философии модерна. Все же Ласкер-Шюлер была вхожа в дома самых влиятельных людей и встречалась с самыми блестящими интеллектуалами еврейского мира и немецкой культуры. А иерусалимскими улицами в те дни ходили и Шай Агнон, и Гершом Шолем, и Мартин Бубер, и Макс Брод, и многие, многие другие. Ей предлагали должности и деньги. Она отказывалась и жила как хотела и как привыкла. И считала эту свою жизнь существованием посмертным, поскольку смерть всего, что было ей дорого и важно, уже наступила. В Германии и, как она считала, во всем мире.

Тем временем в мертвом мире шла невероятная резня. Евреев вырезали на корню. В Палестине они пытались создать свое государство, но англичане, державшие мандат на управление Палестиной, этому сопротивлялись. А палестинские арабы не скупились на убийства и погромы. Жизнь была материально скудной. Деньги и усилия шли на добывание винтовок, создание подпольной армии, строительство поселений и попытки заставить англичан отказаться от мандата. «Государство в пути» обустраивалось, поддерживаемое евреями всего, еще не захваченного Гитлером мира. А беглецы, лишенные самого необходимого, прибывали в Палестину ежедневно из самых разных уголков мира, где их подстерегала не воображаемая, а самая что ни на есть реальная физическая смерть.

Во всем этом месиве обстоятельств внимание, оказываемое Ласкер-Шюлер населением еврейского ишува, может показаться даже чрезмерным. Ни в Германии, ни в Швейцарии у нее не было ни малейшего шанса напечатать новые стихи, написанные в Палестине. Их выпустил палестинский книгоиздатель Шокен. Книга приобрела мировую известность. Название ее переводят как «Голубой рояль», но мне бы больше понравилось название «Голубой клавир». «У меня в доме стоит голубой клавир / Но я не знаю ни одной ноты / Он стоит там у двери в мою келью / С тех самых пор, как мир одичал».

О деловом Дон Кихоте и природе «базза»

Шимон Перес, постоянный соискатель почетных званий, должен был бы считаться любимцем нации. И, право слово, он сделал для этого немало. Пересу приписывают внедрение армейской логистики ЦАХАЛа и появление из ничего электронной, авиационной и оборонной промышленности. Считается, что именно он стоял у истоков израильской атомной программы и был зачинщиком создания поселений на территориях. Известно, что до превращения в голубя мира Перес считался самым задиристым коршуном израильской правой левизны. И вообще — за время своего почти пятидесятилетнего служения Шимон Перес возглавлял почти все министерства и министерские комиссии, приложив, таким образом, руку ко всему, что происходило за это время в Израиле.

Дважды он был министром обороны, трижды — министром иностранных дел и по разу — министром связи, финансов, транспорта, абсорбции, министром по делам религий, диаспоры, информации и специальных министерств по региональному развитию. Все это — не считая двух сокращенных сроков в роли премьер-министра и должности президента страны. Казалось бы… но нет. Старейшина политического Израиля словно вычеркнут из списка получателей народного признания. Если ему и достается какая-то толика признания, то не индивидуально, а на паях, да еще приходится ловчить и исхитряться для ее получения. Так было с Нобелевской премией. И так обстоит дело с одобрением израильских базаров, где еще недавно Переса забрасывали гнилыми помидорами.

В связи с 90-летием президента израильские СМИ, обычно малорасположенные к нему, постарались заполучить положительную реакцию уличной толпы. Реакция была кислой. На сей раз Пересу пришлось делить собственную славу с собственным долголетием, в связи с которым плохо говорить о президенте стало просто некрасиво. Что за гримасы фортуны! Она ли так зло играет человеком или это он так неловко заигрывает с ней?

Шимон Перес уже много лет пытается утвердиться в роли мечтателя, романтика, миротворца и даже Дон Кихота, а его как считали, так и продолжают считать иллюзионистом, способным отработать любой проект до последнего трюка, а любой трюк до его последней возможности, когда, словно по капризу фатума,

вместо самого фокусника на сцене возникает его ненавистный конкурент, которому и достаются все почести. Даяну, например, или Ицхаку Рабину. Бегину, Шарону, ничем не примечательному Ольмерту и даже такому политическому недоразумению, как Моше Кацав. К Пересу прилип эпитет «лузер», «вечно проигрывающий». И это такая же правда, как и вышеприведенный список достижений.

Трудно приписать одной фортуне неразбериху, возникающую в связи со списком достижений Переса, при которой каждое значимое деяние, которое, казалось, должно было быть записано на его имя, получает дополнительного адресата или ставится под сомнение. Так, официальная биография говорит о том, что юный Перес вступил в «Хагану», но не оспаривает и того, что он ни разу не принимал участия в ее операциях. Рассказывают, что Бен-Гурион, ставший покровителем амбициозного юноши, на ходу оценил его деловые способности и сделал главным интендантом военных соединений, а затем ЦАХАЛа. И что в 1950 году совсем еще юный Перес вроде бы был назначен временным командующим военно-морскими силами. Но другие источники настаивают, что в то же время этими силами командовал Пауль Шуман. Затем Перес вроде бы был военпредом в США и учился в Гарварде, а скептики вопрошают: не зная ни одного иностранного языка?

Дальше — больше. Все факты говорят за то, что в должности гендиректора Минобороны Перес заложил-таки основы израильской авиационной, электронной и оборонной промышленности, но израильская традиция и тут упорно подставляет на место его фамилии другие имена. О соперничестве между Пересом и Рабином ходят легенды. Это было не просто соперничество, то была война, в которой у Рабина был свой лагерь истерически преданных ему солдат, многие из которых носили звание генералов, тогда как лагерь Переса состоял из трезвых деловых людей, умевших взвесить все преимущества правильного сотрудничества.

О войне между заклятыми партнерами по мирному процессу, поделившими Нобеля, упомянул даже Билл Клинтон в торжественной речи по случаю 90-летия Переса, отпразднованного, кстати, на два месяца раньше срока и тоже применительно к обстоятельствам: большинство приглашенных находились в Израиле по другому поводу, что и стало, очевидно, причиной досрочного юбилея, — иначе их всех было бы не собрать. Так вот, вспоминая ход мирных переговоров, Клинтон не постеснялся почтить юбиляра таким анекдотом: мол, обняться с Арафатом Рабин еще худо-бедно был согласен, но Пересу

согласился только руку пожать и то только после сильного дипломатического давления — «и без поцелуев!».

Рабин в своей автобиографической книге назвал Переса «хатран бильти нила», что можно перевести как «неуемный интриган». Скажу от себя: если и интриган, то не простой, а король интриги, поскольку найти ее концы до сих пор никому не удается. Но виноватым в войне Переса и Рабина считают однозначно Переса. Почему?

Напрашивающийся ответ: Перес приехал в Палестину 11-летним подростком, тогда как израильские народные любимцы — Рабин, Даян, Шарон — здесь родились. За это их и любили. Правда, Бегин тоже пользовался экстатической народной любовью, несмотря на шляхетскую привычку целовать ручки. А еще бытует такое вот зафиксированное воспоминание: юный Шимон Перский обучался агротехнике в Бен-Шемене совместно с таким же, как он, галутным парнишкой Мосей Тилимзогером. Место — весьма уважаемое учебное заведение, из которого вышло немало израильских знаменитостей, — и время — апогей доктрины «нового еврея», когда горели киоски, торговавшие газетами на идише, — ультимативно требовали от галутных пришельцев менять фамилию на «что-нибудь ивритского». Фамилии предлагали в организованном порядке.

Перскому предложили библейское построение «Бен-Амоц», но он отказался, поскольку фамилия рифмовалась с позорной и хамской кличкой. Тогда это мнимое неблагозвучие взял себе Муся, подняв при этом увесистый кулак и крикнув на все собрание: «Пусть кто-нибудь попробует срифмовать!» Охотников не нашлось. Так Муся Тилимзогер стал Даном Бен-Амоцем, а впоследствии писателем, журналистом, художником, критиком, скандалистом, молодежным идолом, а также основателем особого израильского стиля, короче — квинтэссенцией «израильскости». А Шимон Перский сократил собственную фамилию до Перес по предложению Бен-Гуриона. Знал ли Старик, рассказывая своему подопечному о танахической птичке с этим названием, что речь идет о стервятнике?

Биография Шимона Переса вроде бы открытая книга, но все в ней находится на грани сомнения. Он родился в селе Вишневе Воложинского повета, неподалеку от Гродно и Сморгони. Его мама якобы была учительницей русского языка и библиотекарем. Библиотека на 4 тыс. томов в местечке и вправду имелась, но школа была одна с обучением на языке идиш. Сам Шимон, по его же воспоминаниям, обучался поначалу у деда-раввина, а потом в польской школе. Тем не менее дед-раввин читал внуку Толстого и Достоевского по-русски. В еврейском местечке под Сморгонью? Я

не говорю, что такого не могло быть, но если было, то должно было казаться весьма необычным. Еще вот что: Шимона Переса вроде бы обучала основам русского языка будущий министр абсорбции Софа Ландвер, и было это сравнительно недавно. Опять глупая неувязка, и так до конца, до досрочного юбилея, приуроченного к малозначимым событиям, собравшим в Израиле всех нужных Пересу людей. Неужели и эти малозначимые события тоже были рукотворны и создавались в канцелярии президента? Подобная логистика граничила бы с магией.

Отец Шимона Перского был зажиточным лесоторговцем. Переехав в тридцатых годах в Тель-Авив, он стал весьма благополучным горожанином. Его сын учился, естественно, в самой престижной гимназии. В детстве мальчик прославился такой свирепой религиозностью, что разбил радиоприемник родителей, слушавших радио по субботам. С чего вдруг этот парень оказался в сельскохозяйственном интернате рядом с проблемными подростками и детьми социалистов?

Непонятно, но факт. Необъяснимый, как остальные неувязки. Перечислить их все невозможно: у каждого события в жизни Переса есть двойное и тройное дно. Может быть, именно такая сложность жизнепроживания и не дает «баззу» окружить Переса защитным флером. Как тех же Рабина или Дана Бен-Амоца, вокруг которых «базз» стоял колом.

Эквивалента слову «базз» в русском языке я не нахожу. В английском это экстатическое восхищение кем-то или чем-то. «Базз» — еще и «слух» или «сплетня», но обязательно с оттенком ажиотажа. Впрочем, слово «сплетня» тут не совсем подходит.

«Бззз», — шумит пчела и любое возбужденное насекомое, производя жизненно важное для него действие. Специалисты по маркетингу ищут способы запланированно производить «базз» вокруг какой-либо идеи или предмета, которые требуется внедрить куда-либо, вызвав массовую истерию. Например, в преддверии появления нового образца сотового телефона или очередного тома «Гарри Поттера». Но «базз» не обязательно рукотворен. Все крупные научные открытия начинались с легкого «базза», становившегося под конец настолько сильным, что не говорить о данном открытии оказывалось невозможно.

Не будет преувеличением сказать, что без «базза» настоящей славы не бывает. В определенном смысле хороший «базз» и есть слава. Так вот, по моему глубокому убеждению, есть люди, выделяющие эту субстанцию, как пчела мед, тогда как другие не могут ее создать, как ни стараются. Перес — из категории последних. Предположительно, это обстоятельство повлияло и на шансы мирного процесса, называемого просто «Осло», ставшего

для израильтян и всего мира парадигмой пустой болтовни, обманки, ненужной обязаловки мировой политики, в которой нет смысла, у которой нет перспектив и которую приходится продолжать, потому что прекратить нельзя.

Впрочем, перспектив не было заведомо. В середине девяностых мне довелось беседовать с г-ном Галтунгом. Этот швед считался основоположником системы улаживания международных конфликтов, его имя связано с умиротворением ирландской проблемы, его приглашали для консультаций на все мирные переговоры, пригласили и для оценки соглашений в Осло. Галтунг постановил, что у этих соглашений нет будущего, поскольку они не отвечают желаниям ни одной из сторон. Вину за упрямое продвижение программы, изначально вызвавшей оправдавшиеся впоследствии сомнения, возлагают на Переса. Мол, Рабин сомневался, а Арафат знал, что не станет взаимодействовать, но Перес хотел себе славы первого миротворца и, как всегда, оказался весьма деловым Дон Кихотом, развив по этому поводу бурную и по сей день не прекращающуюся деятельность. И пусть соглашения в Осло не приблизили Израиль к миру с арабами ни на йоту, зато они сделали Переса главным голубем мира, партнером пикассовской Паломы. При этом забывают, что многие другие начинания Переса, оказавшиеся успешными, тоже поначалу считались фантазиями. Та же атомная программа, например.

Где-то году в 1999-м меня попросили встретиться с Шимоном Пересом по какому-то делу. На столах в его кабинете лежали книги на русском языке. Полный джентльменский диссидентский набор. Зачем столь известный политик решил их штудировать? Ответа не последовало. Попутно выяснилось, что хозяин кабинета и книг если и знает русский язык, то в весьма ограниченном объеме. Пришлось прийти к выводу, что книги были выложены на столы для меня, дабы произвести впечатление. Спустя короткое время Перес предложил мне рюмку водки. Я поинтересовалась, пьет ли он сам в столь ранний час, да еще и водку? Хозяин сказался непьющим. Дело принимало скверный оборот. Меня явно пытались вычислить, оперируя стереотипами. Хотели угодить, а на деле разозлили и обидели.

Сердечного разговора, на который рассчитывала принимающая сторона, не вышло. Зато я получила объяснение загадки фокусника: «базз» просто не живет в музее восковых фигур, не живет в нем и народное признание, да и фортуна обходит это место стороной. Что до Нобелевских премий мира… их как раз по большей части вручают восковым фигурам, поскольку чествуют не человека, а отвлеченную идею вселенского

мира. Стоит сравнить список лауреатов премии с итогами их деятельности, чтобы в этом убедиться.

Террорист печального образа

Было это году в 78-79-м уже прошедшего столетия. Мы застряли в песках по дороге в Ямит, и я кисло пошутила: выменяем у бедуинов «опель» на верблюда, а уж тот довезет до чего-нибудь. «За белую женщину с высшим образованием могут дать даже белого верблюда», — съязвил мой спутник. И тут появился бедуин, а при нем — несколько верблюдов, один из них — альбинос.

Сын вцепился в меня и заорал как оглашенный: «Маму не отдам!» Бедуин с интересом вгляделся в застрявшую в песках машину, сотрясавшуюся от детского визга. Мы явно выглядели меджнунами, такими же сумасшедшими, как и жители Ямита, который стал вдруг виден, словно всплыл из песков.

Ослепительное солнце смешало его с окружающим миром, но тень от верблюдов изменила наш угол зрения. Оказалось, что мы стоим прямо за решетчатой проволочной изгородью, отделяющей пустыню от поселения. За забором виднелись небольшие домики, окруженные чахлой зеленью. «Посмотри, как у нас зелено!» — восторженно сообщила Рут, кидаясь мне на шею. Мы с ней знали друг дружку с детства, которое прошло в Литве, в зарослях дачного орешника и цветопадах городской сирени. «Когда-нибудь тут будет очень зелено», — поправил супругу Миха. Его родители были в свое время высланы в Сибирь за сионизм. Сионисты считались в Вильно существами экзальтированными. Но Миха, не так давно вернувшийся из Сибири, хоть и был неумеренным романтиком, слыл исключительно правдивым парнем.

Они с Рут приехали в Израиль года на два раньше нас и поселились в Хайфе. В их пустой новенькой квартире меня поразила настенная открывашка для консервов. Я бы предпочла лишнюю табуретку. И строить город в песках, может, и хотела теоретически, но не настолько, чтобы отказаться от всего, что удалось уже слепить на новом месте. Рут и Миха не настаивали. Наша общая знакомая — Исра — уже съездила в США и привезла оттуда 10 семей застройщиков. Это успокаивало. Значит, обойдутся без нас.

Между тем Садат успел побывать с визитом в Иерусалиме, и Менахем Бегин собирался ехать в Кэмп-Дэвид на переговоры о мире. Он лично обещал жителям Ямита, что их город-мечта на 250 тыс. жителей, в котором будет морской порт, консерватория, обсерватория, музеи, галереи, бурно развивающаяся промышленность и вообще все, что имеет свойство развиваться и процветать, никогда не перейдет в чужие руки. Миха ему верил,

поскольку люди, однажды побывавшие в зоне, не должны врать. А Бегин побывал не где-нибудь, а в Печорлаге. Но, вернувшись из Кэмп-Дэвида, старый сионист и бывший зэк развел руками. И велел снести Ямит с лица пустыни. Взорвать. А какие там были восходы и закаты за пальмами, росшими прямо на песчаном берегу!..

После разрушения Ямита я Бегина видеть не могла. Не больно он мне нравился и прежде. Вел себя, как провинциальный актер, произносил цицероноподобные речи, положенные на ивритский гекзаметр, и казался безнадежно архаичным, а потому и нерелевантным. Именно так пародировали его все без исключения израильские комики. А Бен-Гурион, тот даже имени Бегина не желал произносить. Называл членом кнессета, который сидит рядом с товарищем Бадером. Только много позже, ознакомившись с литературным наследием Бен-Гуриона, я выяснила, что тот Бегина уважал и даже любил на особенный манер. За правдивость, благородство, готовность пожертвовать личными интересами — любыми — ради общего дела или высокой цели. Сегодня и я считаю Бегина самой интересной и трагической фигурой сионистской саги, сплавом принца датского и благородного рыцаря печального образа, который ясно видел, что перед ним ветряные мельницы, но все же вступал в бой, поскольку отказаться означало бы попрать высокий смысл жизни.

Менахем Бегин родился в 1913 году в Брест-Литовске в семье торговца лесом, смельчака, романтика, человека немецкой культуры и сионистских взглядов, который главным занятием жизни считал должность секретаря еврейской общины. Рассказывают, что приняла младенца акушерка, позже ставшая бабкой Ариэля Шарона. В нежном возрасте он год посещал хедер, затем перешел в сионистскую школу «Тахкемони», а позже поступил в польскую гимназию, где получил солидное классическое образование. Любовь к классической литературе, в том числе к произведениям на латыни, Бегин сохранил на всю жизнь. Направляло же его не столько красноречие Цицерона, сколько содержание жизни героических латинян. А завершил он свое образование в Варшавском университете, где окончил факультет права. Сообщают, что звали его в этом заведении Мечислав Бьегунь. Но адвокатской практикой Менахем-Мечислав не занялся. К тому времени он уже душой и телом был во власти сионистских чар Зеэва-Владимира Жаботинского, а в 1939 году стал комиссаром всего польского «Бейтара», сионистской организации, насчитывавшей около 70 тыс. человек.

У меня нет сомнений в том, что, и называясь Мечиславом Бьегунем, Менахем Бегин лелеял одни лишь сионистские мечты.

Но делал он это в соответствии с польской культурной составляющей, впитанной из окружающей среды. Например, в полном соответствии с болезненно возбужденным чувством того, что и поляки, и русские называют гонором. Поляки при этом имеют в виду честь, а в переводе на русский «гонор» — это фанаберия, высокомерие, заносчивость, даже наглость. Бегин трепетно относился к гонору в понимании «честь». Как-то в ответ на попытку уравнять его с Арафатом на почве терроризма с негодованием парировал: «Я — террорист, а он — бандит. И это совершенно разные вещи».

Веяния того времени не только дозволяли терроризм, но и окружали его романтическим флером. Террористом был, например, знаменитый герой Польши Юзеф Пилсудский, который на вопрос, где проходят границы польского гонора, позволяющего грабить банки, ответил, что границы эти соответствуют границам 1772 года — времени первого раздела Польши. Отметим, что большую часть своей истории лишенная государственной самостоятельности Польша жила воспоминаниями о великой Речи Посполитой, некогда простиравшейся «от моря до моря» (от Балтийского до Черного). Степень униженности польского национального достоинства можно прочувствовать из такого исторического анекдота: посадив силой и хитростью на польский престол своего фаворита, Екатерина Великая с его помощью сумела присоединить к своей империи большую часть Польши. И когда фаворит прислал государыне в благодарность старинный трон польских королей, та повелела вырезать в польской национальной реликвии дырку под ночной горшок.

Было такое или нет, сказать трудно. Но то, почему раздел Польши виделся Пилсудскому оправданием террористических актов, анекдот раскрывает верно. Кстати, во времена своей террористической деятельности Пилсудский скрывался под псевдонимом «Мечислав». Я не пытаюсь утверждать, что воинственный еврейско-израильский национализм Бегина повторяет не менее воинственный польский национализм, но отмечаю, что окружающая среда могла повлиять на эмоциональную окраску этого состояния.

Еще при мне, в 50-70-х годах XX века, в уже советском Вильнюсе национальная составляющая любого вопроса вызывала страстную реакцию. Так, в начале показа фильма Форда «Крестоносцы» зал бывал полон, но в тот момент, когда на экране появлялись звероподобные косматые литовские воины, зрители шумно вставали, хлопая сиденьями, и демонстративно выходили из зала. Между тем вопрос о приоритете литовцев или поляков в победе над тевтонцами вообще уходит в глубь истории, но при

воспаленном национальном сознании время перестает существовать. Все это всплывает в памяти при мысли о Ямите. Вернее, при мысли о том, почему Бегин вдруг решил взорвать город, который поначалу решено было оставить египтянам за приличную плату. Считается, будто это было сделано из опасения, что поселенцы решат вернуться в свои оставленные дома и столкнутся с новыми хозяевами. Возможно. А возможно, так нашла себе выход бессильная ярость Бегина перед неотвратимым.

Он хотел быть отважным и старался держать себя не просто в руках, а даже в ежовых рукавицах, чтобы ни в чем не дать слабины. Но он бежал от фашистов из Ковно в Вильно, а потом презирал себя за то, что оставил тонущий корабль. Пепел погибших в немецких концлагерях и гетто, как и кровь уничтоженной в Бресте семьи, навсегда останется в его памяти. С пылающей «Альталены» он уже не уйдет до последнего мига, потому что капитан обязан покидать тонущее судно последним. Еще он будет с пеной у рта кричать в мегафоны на израильских площадях, сопротивляясь соглашению о репарациях с послевоенной Германией. Но даже не попытается поднять бунт, поскольку поймет в глубине души, что без немецких денег государство может задохнуться. И так будет раз за разом: в каждом случае, когда того потребует благополучие Израиля, Бегин наступит на горло собственной песне и сделает то, что обещал себе и другим не делать ни в коем случае. За что и получит прозвище «демагог».

Бегин, глава воинственного «Иргуна», подпольной военной организации, которая, по мнению многих, прогнала англичан из Палестины своей карательной деятельностью, не будет стесняться собственных мягкотелых сожалений по поводу пролитой крови, пусть даже вражьей. Он, желавший быть шиллеровским разбойником, рыцарем чести, Гракхом и Сципионом, террористом в высоком понимании этого слова, Брутом, если необходимо, распустит «Иргун» и сам предложит мировую Бен-Гуриону. Между тем последний инициировал операцию «Сезон», во время которой людей Бегина свои же братья-евреи сдавали англичанам, фактически посылая их на виселицу. Но благородный террорист, последователь Гарибальди, Костюшко, народовольцев и — возможно — Юзефа Пилсудского, не позволит гонору в русском понимании слова стать причиной раскола нации и братоубийственной войны. Он уступит.

А став премьер-министром Израиля, подпишет мир с Египтом и окажется лауреатом Нобелевской премии мира. Думаю, эта история далась ему нелегко. Но благополучие нации диктовало, и

он подчинился этому диктату. Однако произошедшее в первую ливанскую войну оказалось сильнее прагматического диктата. Сабру и Шатилу благородный террорист пережить не смог. После этой истории он целых восемь лет прятался за стенами собственного дома, так и не объяснив причину, по которой оставил высокий пост, не стал заканчивать книгу мемуаров, не давал интервью и вообще постарался исчезнуть из общественного сознания.

Биографы по-разному это объясняют. Обычно приписывают его состояние физической или иной немощи, вызванной смертью любимой жены. Но правильнее исходить из фразы, сказанной одним обычным утром 1983 года главой правительства Менахемом Бегином государственному секретарю и верному сторонику Йехиэлю Кадишаю: «Кончено. Все кончено. Не могу больше, устал». Устал от чего? Считается, что от операции 1982 года в Ливане, которая должна была закончиться в 40 километрах от границы, а закончилась перед президентским дворцом в Бейруте. От лжи, которой потчевали его министр обороны Арик Шарон и главнокомандующий Рафаэль Эйтан, посчитавшие возможным врать премьер-министру без стеснения и нарушать его приказы. От количества жертв среди солдат Армии обороны Израиля. От рассказов про Сабру и Шатилу, палестинские лагеря, где почти подчистую были ликвидированы все жители, включая стариков, детей и женщин. И пусть делали это не израильтяне, а ливанцы-фалангисты в отместку за резню в Дамуре и смерть Башира Джумайля, но происходило все с разрешения и, как утверждали, по подсказке Арика Шарона. А еще Бегин устал от откровений комиссии Каана, созванной для расследования событий в Ливане. От бесконечной и беспринципной склоки между министрами и политическими деятелями, связанной с выводами комиссии. И от криков демонстрантов под окнами его резиденции. Демонстрантов, которых он не разрешал разогнать, заботясь о свободе слова и демонстраций.

От всего вышеназванного можно, конечно, устать, но отказаться от власти — вряд ли. Слом должен был произойти по кардинальной оси. Боюсь, что такой осью оказалась полная нерелевантность времени и места, в которых Бегину пришлось жить и действовать, понятиям старого мира, на которых он был воспитан. Честь, благородство, бескомпромиссное правдолюбие, эстетика формы и ее приоритет над спасительной бесформенностью, иначе говоря, старое понятие красоты, включавшее и душу, и лицо, и одежду, и мысли, — все оказалось невостребованным и даже неприменимым, и не только на территории ближневосточного региона. Само время отказалось от

них. Впрочем, историки утверждают, что понятия эти всегда оставались только понятиями.

Шарон и Рафуль, уроженцы Палестины, действовали согласно тем же принципам, по которым живут и действуют все остальные уроженцы этой страны любой национальности. Хотел ли Бегин, чтобы они действовали иначе? Не уверена. Свидетельства немногих людей, с которыми он встречался и разговаривал во время своего затворничества, говорят о другом. Он был неисправимым романтиком, это правда, но ни в коем случае не безбашенным мечтателем. И он не принимал ни мельницы за разбойников, ни разбойников за мельницы. Но в тот момент, когда прагматика столь грубо обошлась с мечтой, силы, всю жизнь пытавшиеся уравновесить одну с другой, кончились. А с ними ушло желание говорить, писать и действовать. Вездесущий политик превратился в отшельника.

Проблемы (зоргн) языка идиш

Я все еще не в состоянии занять твердую позицию в проблемных отношениях между языком идиш и еврейским государством, поскольку не могу согласовать эмоции с рассудком. Идиш — мой подлинный маме лошн, материнский язык. Мама моя училась в школе на идише, преподавала в ОРТе на идише, читала в основном на идише и прекрасно знала идишский фольклор. Цитаты из пьес Гольдфадена и произведений Шолом-Алейхема слетали с ее уст так же естественно, как поговорки, присловья, песенки, анекдоты, душеспасительные формулы и бобе майсес на любимом языке.

Казалось, я должна была быть целиком и полностью против некогда официальной, а теперь подспудной политики Государства Израиль по делегитимизации культурных прав не только идиша, но и всех остальных галутных еврейских языков и жаргонов. Но в каждом неразрешимом еврейском вопросе есть калес цад и хосенс цад, точка зрения стороны невесты и стороны жениха. А отец мой был типичный берлинер, иначе говоря, светский городской еврей, сторонник еврейского самовыражения на понятном «людям» (то есть всем окружающим, тут отец дословно повторял известную формулировку Мендельсона) языке. Это при том, что идиш был родным языком и для отца.

Статистика утверждает, что до второй мировой войны в Литве на идише говорила чуть ли не треть населения. Добавлю, что не все говорившие были евреями. Среди тех, кто говорил не по генетическому праву, была, например, моя няня, литовка, шептавшая перед распятием истовые молитвы «Мирьям-кдойше ун ир зунэле Йошуэ», в переводе с идиша: «святой Марии и сыночку ее Иисусу». Нянин идиш был сухим и деловым, присловий она знала мало, а сказки переводила на идиш с литовского. Звали ее Барбора, в переводе «варварка», и была она сиротой, выросшей в еврейских домах. Другие негенетические идиш-спикеры просто жили по соседству с евреями и встречались с ними по разным общим делам.

Чеслав Милош, рассказывая о довоенном Вильно, числит идиш в качестве одной из основ синкретического языка, на котором якобы говорило население города. Я думаю, что он прав, и такой язык был, более того, я на нем говорила в детстве, но поскольку существование особого виленского языка не доказано, утверждать его существование не берусь. Однако, если такой язык все же существовал, он был нашпигован словами из идиша. Типичная фраза на этом языке звучала так: «Тутай шлапя,

геганген навоколо», что в переводе с польско-литовско-идиш-белорусского означало: «Тут мокро, обойдем стороной». И любой коренной вильнюсец этот язык понимал.

Но, хотя идиш в Вильнюсе был привычен уху любой национальности, родители не разрешали мне говорить на этом языке и даже делали вид, будто я идиша не знаю. Он считался языком амха (народа), просте идн (простых евреев), марк иденес (базарных торговок). По этой причине еврейская интеллигенция из небольшого числа оставшихся после войны в живых местных уроженцев говорила между собой в основном по-русски, исправляя ошибки друг друга. Могла ли я думать, что когда-нибудь настолько соскучусь по звучанию идиша, что стану бродить по религиозным кварталам Иерусалима и Бней-Брака, вслушиваясь в «неправильный» — украинский, молдавский, венгерский — вариант жаргона?

Разделение на «народный язык» и лошн койдеш — святой язык, или танахический иврит, придумали не вильнюсские еврейские снобы. Еще в библейские времена в Эрец-Исраэль в ходу было несколько языков, но, если говорить только об иврите, язык простого народа и в древности существенно отличался от языка священнослужителей и мудрецов. Вместе с тем уже тогда иврит был еврейским лингва франка, общим языком, который знали и Эрец-Исраэль, и еврейская диаспора. А диаспора эта существовала со времен разрушения Первого храма, если не раньше. И в каждой диаспоре (а их было немало уже в те далекие времена) евреи создавали еще и собственный язык повседневного общения, основанный на смеси языков нееврейского окружения и иврита. Так что, называя идиш языком базара и улицы, мои родители были исторически совершенно правы. Идиш действительно был создан для базара и улицы. Не только из практических соображений, но еще и потому, что на лошн койдеш еврею полагалось говорить о Божественном, а не о ценах на редьку и морковь.

Имея это в виду, надо бы приветствовать каждый локальный вариант идиша как наиболее приближенный к требованиям места и времени, но где-то к концу XIX века стала сознательно создаваться культура идиша. Подчеркнем слово «сознательно», поскольку вне заведомо осознанных планов и намерений она себе создавалась и создавалась веками, не задумываясь над тем, как и почему это происходит. Культура же, осознающая себя таковой, — это в первую очередь иерархия ценностей. И было решено, что литовский идиш — правильный идиш. Иначе говоря, все остальные варианты идиша были объявлены его жаргонами. Уже в Израиле я услышала от местного старожила, что на настоящем

идише говорили только в Литве, и не во всей Литве, а только в Ковно, и не во всем Ковно, а только в Слободке, и не во всей Слободке, а только на Зеленой улице, в доме номер семь на втором этаже, где некогда проживала семья этого старожила.

Но, как уже было сказано, даже «хороший идиш» не считался среди еврейской интеллигенции языком, которым прилично пользоваться за пределами домашней кухни. Об этом мы узнаём и от дочери еврейского историка Дубнова, и из воспоминаний о порядках в доме «отца современной еврейской литературы» Менделе Мойхер-Сфорима, и от Зеэва-Владимира Жаботинского, а также из бесконечного ряда еврейских мемуаров на многих языках планеты. Причем создается впечатление, что порядки в еврейских «интеллигентских» домах Одессы, Львова, Киева, Вильно и Риги не слишком отличались в этом отношении от порядков в «интеллигентских» еврейских домах Петербурга и Москвы, а также Берлина, Шанхая, Копенгагена, Вены, Праги, Нью-Йорка и Монреаля. Я ставлю «интеллигентские» в кавычки, поскольку трудно судить, был ли, например, дом родителей Кафки «интеллигентским». С другой стороны, мы знаем, что быт Соломона Наумовича Рабиновича, наследника тестевых миллионов, нисколько не был похож на быт героев Шолом-Алейхема, хотя упомянутый богач и автор «Тевье-молочника» — одно лицо. В домашнем быту Соломон Наумович прекрасно говорил по-русски, был страстным книгочеем на этом языке и даже какое-то время служил частным учителем русского языка.

Полагаю, не будет ошибкой сказать, что идиш сам выбрал своей тематикой штетл и нищету. Дело не в том, что на языке, созданном для базара и улицы, нельзя было писать о еврейских салонах Вены, Варшавы и Киева или о возвышенных мечтаниях еврейских курсисток и студентов, — а о том, что такие мечтания имели место, говорит вся история XIX и XX веков. Откуда же иначе взялись Фрейд, Кафка, Бруно Шульц, Ханна Арендт, мятежные ангелы революции и ее романтические дьяволицы? Да и в предыдущих поколениях выбор языка творчества обычно зависел от языковых приоритетов целевой аудитории. Генриху Гейне вряд ли имело смысл адресовать «Лорелею» местечковой еврейской бедноте и малообразованной в европейской культуре еврейской домохозяйке. Но именно эта аудитория, не стесняясь, говорила и читала на идише, тогда как еврейские завсегдатаи театров и литературных сборищ не желали беседовать на жаргоне даже с ближайшими знакомыми. Между тем сам Гейне утверждал, что готов отдать десять набриалиненных берлинеров за одну вшивую бороду восточноевропейского еврея. Это не помешало ему креститься, чтобы получить входной билет туда, где он мог

быть понятым и оцененным.

В сущности, еврейская галутная культура за малым количеством неизбежных исключений развивалась в трех направлениях. На танахическом иврите писались серьезные произведения, по большей части религиозного содержания, тогда как на языке базара и улиц составлялась литература для простого люда, превратившаяся со временем в литературу штетла и городской бедноты. А урбанистическая культура, та, которую в недавние страшные политически некорректные времена называли высокой, создавалась евреями на языках окружающих народов. Согласно нынешним убеждениям, национальная культура должна выражать основные духовные ценности и особенности поведения того или иного народа в тех или иных обстоятельствах. Евреи — писатели и драматурги — именно эти ценности и особенности выражали на разных языках мира. Но в конечном счете (за нечастыми исключениями) именно язык творчества определяет, к культуре какого народа принадлежит данный автор.

Известно, что Кафка остро ощущал себя евреем, учил иврит и даже собирался переехать в Палестину; во многих своих произведениях он выражал именно еврейские страсти жизнепроживания, но еврейская культура не числит его своим выразителем. Вся урбанистическая культура, созданная евреями и говорящая об их уникальном опыте жизни между ксенофобией/антисемитизмом и настырным желанием творить по самым строгим культурным меркам общечеловеческой культуры, отдана народам, на языках которых эти евреи творили. И только идиш, связавший себя с еврейскими «зоргн», бытом местечек и бедняцких кварталов, с ешивами, транскрибировавшимися в бурсы, воровскими притонами, провинциальным театром и специфическим анекдотом, осмеивающим беды и пороки галута, стал основой еврейской культуры Нового времени.

В этой однобокой культуре «смеха сквозь слезы» не нашлось места экстраординарному еврею, отличившемуся во всех без исключения областях так называемого прогресса: технологического, экономического, научного и того, за который отвечают Аполлоновы музы. Так и получилось, что галут стал восприниматься исключительно как период нескончаемого еврейского несчастья, что весьма способствовало желанию вернуться на землю предков и основать собственную территорию жизнедеятельности, забыв при этом проклятый галут начисто. Так, словно этого периода никогда и не было.

Стоит ли удивляться тому, что жертвой подобной интерпретации галута стал в первую очередь идиш? Как-то известная исполнительница песен на идише Нехама Лифшицайте,

знакомая с нашей семьей издавна, спросила меня — уже в Израиле, — являюсь ли я идише тохтер? Это словосочетание может означать как «дочь еврейского народа», так и «сторонница идиша». Я нерешительно пожала плечами. Дочерью еврейского народа я полагала себя всегда и всегда этим званием гордилась, но сторонницей культуры идиша никогда не была, несмотря на большую любовь к маме лошн и неподражаемому фольклору на нем. А уж относительно большей части литературы на идише и танцевально-песенной «идиш-шмальц-кадрили», ставшей сценической параллелью нанайской борьбе и музицированию на пиле, мне и вовсе нечего сказать. К этому жанру самовыражения выродившейся еврейской души у меня нет положительного отношения. Нет его и у большинства израильтян, особенно местного розлива. С этого и начались идиш зоргн — проблемы идиша в государстве евреев, оно же — еврейское государство.

Идиш в стране предков

Казалось бы, государство евреев должно выступить решительным защитником идиша и культуры на этом языке. На деле получилось наоборот: идеологический сионизм — неважно, какого толка, левого, правого или религиозного, — предлагал не просто новое государство евреев, он предполагал еще и появление в этом государстве нового еврея, ни в чем не опирающегося на достижения галута. В сущности, Израиль должен был стать полным антиподом галуту, о котором следовало забыть, словно его и не было. В еврейской истории все должно было начаться заново и именно со дня разрушения Второго храма.

Правда, решено было включить в культурное наследие и то, что было создано в галуте на иврите. Но для того, что было создано на идише и других еврейских языках, как и для того, что было создано евреями о евреях и для евреев, но на нееврейских языках, места в израильской/ивритской культуре не нашлось. Галут, поставлявший молодому государству население, рабочие руки, денежные средства, обеспечивавший ему международную легитимацию и даже позволивший Израилю выступить единственным истцом в вопросе о компенсациях за Катастрофу, объявлялся злостным врагом. Его запрещалось ввозить с собой при въезде и тем более — предъявлять в качестве аргумента в любом споре.

Проявления галутной еврейской культуры конфисковались. Начало еврейской государственности знаменовалось декретированным запретом на газеты на идише, театральные постановки и концерты на этом языке и на любое публичное упоминание о галутной культуре в положительном аспекте. Рассказывают, что концерты и представления на идише все же происходили, но на билетах и в объявлениях специально указывались неправильные время и место, чтобы ревностные стражи порядка уходили ни с чем, тогда как истинные место и время передавались из уст в уста. Несмотря на это, тайные залы бывали переполнены. Газеты на идише тоже доходили до читателя благодаря хитроумию их издателей. Эдакий вариант идишского самиздата.

И вот знаменитая на весь послевоенный идишский мир певица Нехама Лифшицайте приезжает из Литвы в Израиль и добивается права дать концерт в боевых частях ЦАХАЛа. Это было мечтой всей ее нелегкой жизни. Она ехала к ним, к еврейским солдатам, в состоянии эйфории. Пела, как никогда, — и была

жестоко освистана. Сказала со слезами на глазах: «А данк айх, сабрес» («Спасибо, сабры») — и вошла в израильскую когорту борцов за права идиша.

Честь и хвала ей, только на солдат-сабров Нехама обиделась напрасно. Их так воспитали. Когда Ружка Корчак, бывшая узница Вильнюсского гетто, попыталась говорить на идише во время общественной дискуссии, ее резко оборвал сам Бен-Гурион. По некоторым свидетельствам, он даже крикнул, что Катастрофа произошла с евреями из-за идиша, а потому нет такого языка, нет, нет и нет!

Я думаю, он хотел сказать (если этот крик души действительно имел место), что переселись евреи галута вовремя в Эрец-Исраэль, Катастрофа бы не произошла. Но привязано было ощущение ужаса и непотребности галута именно к идишу, который и для Бен-Гуриона был родным языком. Отцы-основатели государства в большинстве своем знали идиш великолепно, но говорили на иврите. Кроме того, с созданием государства все государственные чиновники обязаны были носить ивритские имена. Правда, Грин стал Бен-Гурионом, Рубашов — Шазаром, и Реувен Пайкович — Игалем Алоном гораздо раньше. Но если во времена мандата такие решения принимались волюнтарно, со становлением Израиля иначе стало нельзя. Почему?

Начнем с того, что сионистский почин был с самых своих первых шагов связан с ивритом. Новый еврей должен был быть создан древним языком. Предполагалось, что, прильнув к ивриту и Земле Израиля, этот опустошенный галутом Антей воспрянет. Древние корни искали тогда (конец XIX — начало XX века) повсюду: истоки истинно еврейского танца решили обнаружить в танцевальном шаге йеменских евреев; основы чисто еврейской мелодики — в песнях кочевых племен региона; исконно иудейский облик — в бурках и куфиях, бренчащих монистах и сандалиях, которые так и называли «танахийот» («танахические»). Что танахического было в этих сандалиях — два ремешка и подошва — не знаю, по-моему, они соответствовали не столько археологическим находкам, сколько представлениям местных сапожников о небольших умениях сапожников-предков. В любом случае, это неудобство и по сей день называется «танахическая сандалия» и служит показателем принадлежности к касте «израильтян».

Но вернемся к началу начал и ивриту. Не танахическому, а обновленному, который некоторые лингвисты считают отдельным языком. Он был создан энтузиастами своего дела к концу XX века, и вскоре на нем заговорили школьники. Не ешиботники и

раввины, и не по субботам и праздникам, как это было в случае с танахическим ивритом, а обыкновенные ученики обыкновенных общеобразовательных школ.

Однако не следует представлять себе создание повседневного иврита как общенациональный процесс. По воспоминаниям старожилов, еще до того, как сюда хлынул поток беженцев из Европы, Палестина, колыбель сионистской мечты, в повседневной жизни говорила на разных еврейских языках и жаргонах. Больше всего было говорящих на идише, а местной «лингва франка» служил арабский. И это было ощутимой угрозой — не только распространению иврита, но и всей сионистской доктрине.

Иврит требовал государственного протекционизма, и он его получил. Это было вполне разумным действием на раннем этапе развития государства, когда остро требовался языковой цемент для скрепления нации. Кроме спасшихся во время Катастрофы европейских евреев, не всегда, кстати, знавших идиш, на земле предков стали собираться евреи-беженцы из арабских стран и евреи-добровольцы из-за океана, малорослые выходцы из Индии и суровые силачи из Салоник, хитроумные персидские евреи и потомки гаонов Суры и Пумбедиты. Тут уж не стало и повода для спора — общим языком для всех был и мог быть только иврит. Иначе перед молодым государством маячила проблема Вавилонской башни.

Еще в дни моего приезда в Израиль (начало 70-х годов прошлого века) витрины парикмахерских и сапожных мастерских украшал странный лозунг: «Иври дабер иврит!» («Иври, говори на иврите!»). Перевести данную тавтологию я не берусь. Иври — он и есть «говорящий на иврите». Можно, конечно, вспомнить о хабиру, якобы населявших Ханаан еще до появления в нем праотца Авраама, но такое толкование отошлет нас к так называемым «кнаанцам», иначе называвшим себя «Советом коалиции ивритской молодежи», и это уже иная история. «Кнаанцы», или «ханаанцы», не были сионистами. Более того, они были антисионистами, относившими сионистскую деятельность к последним судорогам галута.

Эта небольшая группа творческой богемы (Й. Ратош, Адья Хорон, Узи Орнан, Б. Таммуз, Амос Кейнан и др.) весьма националистического толка, чтобы не сказать фашистской ориентации, призывала «вернуться» к никогда не существовавшему в качестве политической формации доеврейскому Ханаану и к тому варианту иврита, на котором именно в этой части Ханаана никогда не говорили. Иудаизму же была объявлена война. В новом государстве, которое расположится от Тигра и Евфрата до Нила, будут жить не евреи, и

не арабы, не наследники Навуходоносора или Кира, и не потомки Авраама, Ицхака и Яакова. Жить тут будут иврим любого генетического корня. Иначе говоря — «говорящие на иврите». Вопрос о том, с чего это все народы региона забудут свои языки и свою культуру и перейдут на иврит, не обсуждался. Предполагалось, что тех, кто этого не захочет, можно будет заставить.

Надо думать, что поэт Йонатан Ратош, главный двигатель «ханаанства», заразился страстью к примитивной мифологии и волей к мировому господству в Париже конца 1920-х годов. Вагнер, Честертон, Муссолини, «Весна священная», гогеновские таитянки, футуризм и мадам Блаватская — было от чего сойти с ума. Кстати сказать, желая полностью оторвать иврит не только от галута, но и от иудаизма, «кнаанцы-ханаанцы» предлагали заменить ивритский алфавит латинским по примеру Ататюрка. Парадоксы истории прелестны: в конечном счете из этой ультраправой фантазии вылупилось нынешнее ультралевое постсионистское движение. Однако злой дух «ханаанства» все еще живет — не столько в фантазии о Новом Ближнем Востоке, сколько в яростном неприятии галута немалой частью израильтян. Барух Курцвайль, израильский Белинский, отметил еще в 1950-х годах прошлого века связь между идеологией «ханаанцев» и неприятием галута столпами ивритской литературы, в частности и в особенности Бердичевским и Бреннером.

Объем статьи не позволяет развернуть эту тему. Остается сказать, что именно в вопросе отношения к еврейским языкам галута и созданной на основе этих языков культуре «ханаанцы» сходились с идеологическими сионистами. И расходились с большинством жителей Израиля, традиционно считавших себя в первую очередь евреями, а потом уж израильтянами. Было это в 1950-х годах XX века. Но уже в конце того же века опросы показывали обратную тенденцию.

Я не стану приводить цифры, поскольку они были оспорены в последующих дискуссиях. В конечном счете создалось впечатление, что большинство опрошенных просто не поняли смысла вопроса. С другой стороны, детсад, школа, молодежные движения, СМИ и диктатура общественного мнения разлучили молодое поколение израильтян (сегодня это уже люди среднего возраста) не только с фамильным именем, но и со всей семейной историей и культурой. С какой же стати они должны отождествлять себя с евреями и галутом? Они — израильтяне, иврим, «говорящие на иврите». Правда, сейчас настроение израильского общества снова поменялось. Поиск корней

становится видом национальной охоты. Собственной генеалогией нынче занимаются даже израильские дошкольники. Но — и это типично для Израиля — неожиданное увлечение галутным прошлым со стороны детей не отменяет «ивритского патриотизма» их родителей. Тут не принято, чтобы отцы и дети имели общие взгляды на что бы то ни было.

Запрет на идиш давно снят. Идиш и ладино, язык сефардов, были признаны в 90-х годах XX века еврейскими языками, подлежащими охране и кое-какому государственному финансированию. Трудно понять, был ли в этом случае идиш проводником ладино, или наоборот. С моей точки зрения, второй вариант более вероятен, поскольку ладино продвигал сам Ицхак Навон, экс-президент страны и несомненный самех-тет (обычно переводится как «сфаради тахор», «чистокровный сефард»).

Вообще-то акт о «еврейских языках» полагалось бы оспорить. Сегодня на ладино в Израиле говорит гораздо меньше граждан, чем на иудео-берберском или иудео-иранском, а идиш звучит разве что в религиозных кварталах. Но это вовсе не тот литературный идиш, на котором в XIX–XX веках была создана современная идишская культура. Его называют «хареди-идиш» («идиш ультраортодоксов»). Трудно предположить, что он является или станет наследником того языка, на котором писал Шолом-Алейхем. Поэтому по справедливости надо бы поделить деньги, выделяемые государством на содержание еврейских языков, на поддержку тех из них, на которых существует представительная культура. А еврейских языков, не считая наречий и этновариантов, сегодня насчитывают около двадцати.

Если судить по количеству культурных проявлений, на первом месте все-таки оказался бы идиш. Стоит только вспомнить объемный идишский мир между двумя последними мировыми войнами, когда идишский театр из Румынии или Польши мог объехать вокруг света с гастролями и ему были обеспечены полные залы. Да и книги расходились немалыми тиражами, существовала даже кинопродукция, выпускались многочисленные газеты и журналы. Однако после Катастрофы, а также в результате ассимиляции, специфической политики советской системы, как, впрочем, и в результате политики — поначалу откровенной, а позже завуалированной — израильского истеблишмента, носителей идиша осталось немного. Самостоятельно поддержать полноценное развитие культуры на этом языке они не в состоянии.

Примерно в 2000 году после поездки в Канаду и возвращения с мечтами о государственном учреждении, ответственном за

сохранность еврейской культуры на всех языках по примеру канадского Министерства культурного наследия (Cultural heritage), я отправилась в Бейт Левик, считающийся Домом идишской литературы. Там был разгром. Не стану описывать все приключения этого визита: прошло немало лет, многое наверняка изменилось и нет особой причины детализировать именно эти воспоминания. Но один эпизод все же просится на бумагу, поскольку напоминает хороший старый идишский анекдот. Некто, представлявший тогда начальство Дома, пожаловался мне на финансовые трудности, в частности на то, что мэрия подняла муниципальный налог, оплачивать который заведению нечем. Уладить этот вопрос большого труда не составляло. Сложность заключалась в том, что говоривший потребовал неразрывно связать вопрос муниципального налога с признанием идиша государственным языком. Либо государственный язык и муниципальный налог, либо — не нужны нам муниципальные подачки!

Никаких шансов устранить это препятствие не было. Я пыталась объяснить, что даже если бы приверженцы идиша решились на демонстрацию протеста, они вряд ли собрали бы несколько сот человек, тогда как приверженцы других еврейских языков могут собрать огромные толпы. Моего собеседника этот аргумент не убедил. Он готов был сразиться за права идиша с любой инакомыслящей ратью. Мы говорили на иврите. Поняв, что вопрос закрыт, я неожиданно для собеседника попрощалась на идише и не стала оборачиваться, чтобы проверить его реакцию. Было невыносимо больно сознавать, что этот спор не имеет ни конца, ни смысла.

Другой

Случилось это в год моего прибытия в Израиль. Тетушка, измученная моим нытьем по поводу культурного голода, великодушно презентовала мне, голодающей, билет в филармонию. В свободной продаже этих билетов тогда было мало, да и обнаружься таковой, был бы он мне не по карману. В филармонию брали абонемент. Считался он привилегией аристократии кармана и духа в их неразрывном сочетании. Тетушка же, хоть и была небогата, предпочитала есть скромно, но в филармонию ходить, как на службу, и непременно в драматически пережившем войну жемчужном ошейнике.

Иврит я тогда еще совсем не знала. Прошла с опаской мимо контролера, словно он мог заподозрить подлог, после чего быстренько скользнула в зал и шлепнулась на привычное место в восьмом ряду. Слева, разумеется, чтобы видеть руки пианиста. На этом месте в Вильнюсской филармонии я просидела двадцать два года и не представляла себе иного музыкального ракурса. Думаю, что истосковалась я тогда не столько по классическому звуку, сколько по духу концерта классической музыки, и, попав в привычную обстановку, совсем потеряла голову. Шумок наполнявшегося зала, запах духов и шорох потревоженных конфетных оберток трансформировались во временной плюсквамперфектум, развернувшийся чередой приятных воспоминаний, которые стерли последние намеки на грубую реальность. Именно в этот счастливый момент возник передо мной пожилой мужчина с отеческой улыбкой в двадцать четыре лошадиных зуба.

Он чего-то от меня хотел и зачем-то показывал входной билет. Я протянула ему свой для рокировки. Мужчина вгляделся, пожал плечами, потом снова улыбнулся, но так сладко, что я была готова безропотно уступить ему место, если родственница что-то напутала и билет мой на другое число, например. А вдруг билеты в филармонию вообще не полагаются новым репатриантам, еще не начавшим выплачивать ипотечную ссуду? Кто его знает, какие тут порядки?! Но не успела я растерянно подняться, как мужчина усадил меня назад в кресло, нажав рукой на плечо. И ушел. Я проследила за ним до одного из последних рядов, потом потеряла из виду.

А в следующую пятницу во время семейного ужина увидала так понравившееся мне лицо на экране телевизора.

Выслушав мой рассказ, тетушка всполошилась. На экране телевизора обнажал в улыбке двадцать четыре зуба один из

верховных израильских судей по имени Хаим Коэн. Тетушка этого господина судью терпеть не могла за его позицию в деле какого-то Кестнера, но и обожала, как обожают какого-нибудь рок-идола. Душу готова была ему отдать, ощущая при этом, что закладывает ее чуть ли не дьяволу. При этом она не забыла объяснить мне, что место в восьмом ряду слева было ей и мне не по чину и не по карману. Тетушкин абонемент имел в виду как раз тот ряд в конце зала, куда и отправился господин судья, решив безропотно поменяться со мной местами, чтобы не ломать кайф обалдевшей девице явно из новоприбывших и понятно из каких краев. С моей точки зрения, этот акт обозначил его как истинного европейца голубых кровей и того воспитания, какое давала своим избранникам фея-гувернантка Мэри Поппинс.

Тетушка подтвердила, что судья Хаим Коэн и впрямь истинный европеец голубых еврейских кровей. Он и сам не уставал гордиться своим происхождением и воспитанием. Происходил Коэн из столь знатного клана немецких раввинов и банкиров, что даже в самый разгар европейских войн и аншлюсов (речь идет о второй мировой войне), уже будучи адвокатом в подмандатной Палестине, а потом и израильским общественным и государственным деятелем, ухитрялся с большим блеском использовать родовые связи для установления особых отношений с американским, английским и общемировым политическим и научным истеблишментом.

Об этом он пишет свободно и даже несколько хвастливо в объемной автобиографии, названной «Маво иши». Прямой перевод означает «Личное введение», но из желания приблизить название книги к ее содержанию, я бы предпочла «Введение в личность». Хаим Коэн, эстет, эпикуреец, экзистенциалист, образчик израильского (правильнее — немецкого) либерализма и гуманизма, а в первую очередь — эгоцентрист и индивидуалист, тщательно культивировавший себя как особый бренд, отражающий идеальную израильскую личность, именно с таким намерением и писал это свое «Введение», пухлый том, без которого был бы непонятен его основной труд — «Лихьет йеуди» («Быть евреем»).

Насколько я знаю, из многочисленных книг и статей Коэна на русский язык переведен только «Суд над Иисусом», выдержанный в лучших традициях еврейско-христианских апологических полемик. В нем убедительно доказывается, что Иисуса из Назарета по чисто юридическим причинам никак не мог судить еврейский суд, и тем более Сангедрин. Но, на мой взгляд, полезнее было бы перевести основные труды Коэна, которые могут служить лучшим из всех мне известных введением в

«израильтянство». И не только потому, что Коэн — талантливый писатель, хотя и этого нельзя отнять, а потому что он сумел сначала стать эталоном секулярной израильской интеллектуальности, а потом умело и эффективно растиражировал этот эталон в качестве образца для всеобщего подражания.

Эта тактика, широко используемая в культуре постмодерна, в нашем случае была, скорее всего, не нарочитым интеллектуальным ходом, а прямым последствием состава личности. Коэн искренне любил своих предков и родичей, свой клан и народ, свои заблуждения и убеждения, достижения и неудачи, дававшие повод для размышлений, свои позитивные стороны, совпадавшие с национальным и общеевропейским категорическим императивом, а также свои чисто человеческие слабости, позволявшие вздохнуть и произнести с саркастической улыбкой: «…человечен, слишком человечен». И пусть Канта во всем этом мыслительном и поведенческом многообразии было больше, чем Ницше, став атеистом, Хаим Коэн отыскал новый и, с его точки зрения, более высокий смысл в категорическом императиве. Ибо теперь изначальную моральную норму устанавливал не кто-то извне, как полагал кенигсбергский мудрец, а сам индивид.

Отметим, что нынешний израильский интеллектуал-либерал выстраивает себя по Хаиму Коэну, оставившему подробную запись собственных интеллектуальных приключений, а также обширную аудио- и видеотеку своих выступлений, лекций, приветственных адресов и некрологов. Коэн был великолепным шоуменом, его обожали журналисты всех родов СМИ, а уж он не упускал случая показаться публике на глаза или быть услышанным. Афоризмы из него так и сыпались. Даже случайное появление судьи Коэна на экране становилось событием. В роли Эркюля Пуаро он мог бы принести любой кинокомпании миллионные прибыли.

В Израиле верховный судья как культурный герой ничуть не уступает по популярности значимым политикам или любимцам массовой культуры. Средний гражданин знает этих судей в лицо, а также знаком с их повадками, характерами и мировоззрением, поскольку именно они устанавливают этические нормы, возглавляют общественные комиссии-разборки и устраивают шумные диспуты по наболевшим вопросам.

Судебный активизм, который ставят израильским судьям то на вид, то в заслугу, соотносится с очень древней иудейской традицией. Еврейское существование в галуте означало в первую очередь жизнь под прикрытием автономного еврейского судопроизводства. При этом судьями назначались самые видные

и образованные представители еврейской общины. Судей и суд в народе весьма уважали, не забывая, разумеется, их критиковать и даже ругать нехорошими словами. Так оно ведется и в Израиле. А Хаим Коэн при этом был еще и шармером, вполне сравнимым с такими специалистами этого дела, как Битлы или, скажем, принцесса Диана.

По-нынешнему говоря, он обладал харизмой. И столько ее, этой харизмы, в нем было, что даже самые заклятые враги, и сегодня говорящие о Коэне только сжав кулаки, не могут не улыбнуться хотя бы краешком губ, вспоминая ненавидимого. Он был Ахер, Другой, или Тот-вы-знаете-кто (кого не рекомендуется называть по имени). Но вообще-то под названием «Ахер» в иудаизме скрывается вполне определенная историческая личность по имени Элиша бен Авуя. Авуя был танаем, современником рабби Акивы, великим знатоком Торы и отчаянным парадоксалистом. Спор о том, что заставило его стать Другим, иначе говоря, безбожником, еще не закончен. Одни различают в этом событии исключительно личные мотивы, другие предполагают Высшую инициативу. Возможно, именно по этой причине предание не исключило Элишу ни из религиозной и исторической традиции, ни из народной памяти.

Высказывания Другого изучаются, его поступки комментируются, он остается почитаемой талмудической фигурой, несмотря на свое отступничество. Так вот, знаменитый раввин Кук-старший назвал своего любимого бывшего ученика, судью Хаима Коэна, «новым Ахером». И ученик весьма гордился этим эпитетом. Правда, приводя высказывание любимого учителя, Хаим Коэн не объясняет, что именно тот имел в виду. Зато он посвящает немалую часть собственных трудов объяснению причин и даже закономерностей своего отступничества. Основную причину судья видит в несправедливости некоторых алахических законов и, более того, в факте Катастрофы. Коэн утверждает, что, если бы и после этого ужаса он продолжал верить в Бога, ему бы пришлось Его возненавидеть. Однако этим проблема атеизации собственного мироощущения не исчерпывается. Коэн без конца продолжает полемизировать с людьми и Небесами по этому поводу. При чтении посвященных этой проблеме многочисленных страниц меня не оставляло ощущение, что господин судья сознательно или подсознательно «делает себя под Элишу».

В принципе же «великий израильский отступник», новый Ахер, эпикуреец и безбожник, либерал и борец за права человека, гордящийся своим знанием западной философии, особенно немецкой, особенно Ницше и Шопенгауэра, во всех своих трудах

опирается не на их труды, а почти исключительно на еврейские источники. В интеллектуальном плане Хаим Коэн всю жизнь был занят только двумя вопросами: что делает человека человеком и еврея евреем?

В перерывах между размышлениями на эту тему, чтением и изучением соответствующей литературы и нескончаемым самоанализом он любит женщин и природу, а также музыку и хорошую беседу с интересными собеседниками; много путешествует, наслаждается театром и закладывает основы израильской юридической системы, служа юридическим советником правительства и государственным прокурором, а затем — верховным судьей. В качестве последнего Коэн старательно создает прецеденты и сам их оспаривает, вводя понятие «мнение меньшинства» в качестве вполне легитимной части юридического процесса. Эта, казалось бы, мало значимая завитушка на барочном фронтоне обсуждаемой личности требует хотя бы короткого пояснения.

Не только в Израиле, но и во всем мире принято, чтобы судейская коллегия стремилась к единогласному заключению. В судебной практике именно единогласие считается признаком неоспоримости окончательного вердикта. Вместе с тем современная наука требует не единомыслия, а как раз проверки на возможную ошибку. Неоспоренное мнение всегда вызывает подозрения в неистинности. Было бы неверно придавать юриспруденции видимость точной науки. Коэн и не пытался этого делать. Но он возвел судебное сомнение в принцип и сделал это на основе еврейской традиции.

Судья Коэн делает четкое различие между еврейским законодательством, как его выражает Алаха, и еврейской законодательной традицией, включающей альтернативное мнение еврейских мудрецов. Разве не сказано, что и та и другая точка зрения одобрена Небесами? В таком случае Алаха просто выражает то, что было наиболее приемлемо в определенных обстоятельствах определенного времени. Что же мешает современному еврейству возобновить алахическую полемику? Разбирая с этой точки зрения насущные вопросы современности, Хаим Коэн приходит к выводу, что кажущиеся интеллектуальные новинки уже обсуждались в старые, старинные и даже древние времена. Более того, еврейская альтернативная традиция дала на них вполне современные нам, сегодняшним, ответы.

Сам Коэн считает, что именно эта позиция вызвала ненависть к нему со стороны религиозной ортодоксии, отстаивающей право на единоличное «владение» еврейской традицией. Я же думаю, что одного назойливого способа самоатеизации, при котором был

совершен не принятый в иудаизме обряд, хватило бы для ярко выраженного антагонизма. Хаим Коэн не просто отказался от религиозного образа жизни, он ритуализировал этот отказ. Но парадокс состоит в том, что, судя по огромному количеству текстов, писаных и устных, Хаим Коэн никогда и никуда от еврейского Бога не уходил. В сущности, несмотря на ритуалы и заверения, он так и не перешел к секулярному способу мышления. Его система доказательств проста и безупречна: так написано в священных книгах, так считали еврейские мудрецы, так вещал ему, Хаиму Коэну, лично бат коль, неоспоримый Небесный Глас.

Червячок Шамир и израильское правосудие

Мой сын выступает в суде в адвокатской мантии, перешедшей к нему от деда. А моему отцу мантию презентовал бывший однокашник, когда отец собирался на торжественную церемонию по поводу вступления в израильскую коллегию адвокатов.

Было это в 1974 году. Отцу минуло 64 года, он был смертельно болен и знал, что переживет торжественную церемонию на несколько дней, в лучшем случае — месяцев. Этот факт нисколько не уменьшил его решимости, пошатываясь, выйти из больницы, чтобы получить заветную бумагу с большой красной печатью, разрешающую трудиться на ниве, с которой отца за два года до того — правда, совсем в другой стране — торжественно проводили на пенсию.

Отец окончил юрфак в Каунасе перед второй мировой войной вместе с хозяином мантии. Приехали бы они в Палестину вместе, заказали бы по мантии у того же портного. Но отец не был сионистом, даже наоборот. Поэтому он приехал в Израиль на сорок лет позже. А приехав, и слышать не хотел о должности клерка в банке, поскольку «жизнь должна иметь форму и бессмысленно заканчивать ее тем, чем начал». Согласно этой установке, так и не успев побывать пенсионером, он засел за иврит и подготовку к экзаменам, часть которых сдавал уже с больничной койки. Но покупать новую мантию не стал, поскольку она не соответствовала бы его адвокатскому стажу и престижу. Соответствовала им старая мантия бывшего однокашника, в связи с чем мантию достали с антресолей.

Ко времени вручения бумаги с красной печатью отец уже стал де-факто юрисконсультом большого банка и, не вмешайся болезнь, должен был после получения диплома перейти на эту должность де-юре. Но, несмотря на вполне успешное продвижение по жизни, в Израиле ему мало что нравилось, кроме юридической системы. Вернее, нравилась не сама система, а то, как ее собирали по крупицам из всего, что могла предложить мировая юридическая теория и практика. Тут уж бывший антисионист стал горько жалеть, что в свое время не присоединился к однокашнику и не поехал в Палестину. «Представь себе, — вещал он возбужденно, пугая высокими нотами дежурный персонал больницы, — какие у них тут были возможности! Они могли выбрать из мировой правовой сокровищницы самое лучшее!»

О том, как это происходило на деле, нам оставил подробное повествование верховный судья Хаим Коэн, получивший диплом юриста примерно в то же время, что и мой отец, но во Франкфурте. До того Коэн успел побывать в Иерусалиме в качестве ученика знаменитой ешивы «Мерказ а-рав», испытать на себе влияние раввина Кука и стать сионистом. А приехав в 1933 году уже в качестве адвоката, стал доверенным лицом сионистского истеблишмента и непосредственно Бен-Гуриона. За год до возникновения Израиля он вошел во временный комитет, занимавшийся проектом перехода подмандатной юриспруденции в государственную, если и когда государство Израиль будет-таки создано. Для бывшего ешиботника в такой умозрительной эквилибристике не было ничего необычного. Разве наши мудрецы не пытались еще в давние и темные времена определить, в какую сторону нужно будет направлять молитвы, оказавшись в межпланетной летающей башне, кувыркающейся между звездами и облаками?

Так вот, согласно воспоминаниям Хаима Коэна, процесс создания израильской системы правосудия проходил совсем иначе, чем представлял себе мой отец. До объявления Государства Израиль в Палестине действовали одновременно османское и британское мандатное право с вкраплениями английского островного и европейского континентального и, разумеется, раввинские, или алахические, суды. Нередко судебные решения, принятые в соответствии с одним законом или положением, полностью противоречили другому и тоже применяемому закону или постановлению. Было ясно, что систему правосудия необходимо менять. Но как и на что?

По этому вопросу согласия не было. Одни ратовали за полный отказ от Алахи, другие — и среди них всесильный Бен-Гурион — хотели только актуализировать еврейское право, чтобы забрать у раввинских судов многовековую привилегию судить евреев и тем самым управлять ими. И те и другие понимали, что рубить сплеча в этих вопросах порочно. Различные правовые системы, принятые пусть даже в самых прогрессивных государствах, не возникали в безвоздушном пространстве. Они отражали многовековые обычаи, а также нужды и требования определенного места и времени. Из каждой такой системы имело смысл взять только то, что подходило вновь создаваемому еврейскому государству, тогда как, что это будет за государство, каждый отец-основатель и каждая мать-основательница понимали по-своему. А уж процесс актуализации еврейского права и вовсе требовал максимальной осторожности и невероятного терпения, которого не было ни у кого.

Многие века евреи полагались во всем, что касалось разрешения их неразрешимых внутренних споров, на нецах Исраэль — «вечность Израиля». Однако XX век показал, что случайность, вроде появления на свет какого-то Адольфа Гитлера, чуть не уничтожила все, что вечность Израиля нарабатывала столетиями. На сей раз, в отличие от прежних времен, евреям не спустили сверху никаких директив. Царю Соломону легко было слыть мудрым: ему прислали во сне точные чертежи Храма, а после озаботились даже материальной частью — кедрами, архитектором Хирамом и предвечным червяком-каменотесом Шамиром. О Ноевом ковчеге и говорить нечего: там все делалось в строгом соответствии с небесным образцом. А вот еврейское государство Нового времени пришлось строить из головы.

Незадолго до собственной кончины бывший верховный судья Хаим Коэн дал социологу и журналисту Михаэлю Сасеру интервью на целую книгу. В нем мудрый старец, помимо прочих вопросов, согласился охарактеризовать бывших столпов израильского правосудия. Речь идет, разумеется, только о покойных. Живые судьи, да еще верховные, не должны обсуждаться, таков закон общественного приличия. Во главе списка стоит Моше Змора — первый глава Верховного суда Израиля и Высшего суда справедливости (БАГАЦ). Был он родом из Кенигсберга, учился юриспруденции в университетах Мюнхена и Берлина, приехал в Палестину в ранние двадцатые годы прошлого века, но обнаружил, что там уже есть целых семь еврейских адвокатов — намного больше, чем требуется. Однако, поскольку Змора по жене был родственником Залмана Шазара, его сделали адвокатом сионистского «Гистадрута», что обеспечило пропитание.

Коэн утверждает, что Змора ненавидел судопроизводство, но любил говорить и писать о нем. Еще он любил преподавать, даже возглавлял в свое время в Берлине первую гимназию на иврите. В Палестине Змора до возникновения Государства Израиль успел вырастить несколько поколений еврейских адвокатов. Преподавал он — единственный на факультете — на иврите, так что первенство в создании современного юридического языка следует отдать именно ему. По мировоззрению Змора был, разумеется, социалистом и верным членом партии «Мапай». Кроме того, он любил декламировать вслух Гете. Коэн с удовольствием вспоминает, как вся тройка первых верховных судей Израиля бродила по дорожкам парка хайфского дома отдыха и декламировала вслух «Фауста», распределив роли. Декламировали, естественно, по-немецки и по памяти.

Змора был зачинателем не только отточенного юридического

иврита, но и моды на интеллектуализм судебных прений. В Верховном суде говорили, как в философском клубе, и мода эта сохранилась до сих пор, продолжая служить образцом для других административных инстанций, включая кнессет. Даже антиинтеллектуализм, верховодящий в Израиле с начала так называемой «восточной революции» (маапеха мизрахит), не смог победить этот мощный бастион «дойче хебраише культур» (немецко-израильской культуры).

Следующий председатель Верховного суда, Ицхак Ольшан, родился в Ковно, но приехал в Палестину уже в 1912 году. Юриспруденции он учился в Лондоне, а преемником Зморы был назначен, как утверждает Хаим Коэн, потому, что коллегия еврейских адвокатов того требовала. Дело в том, что британский мандат не покровительствовал евреям и не спешил назначать судей из числа их единоверцев. Но еврейские адвокаты создали собственный комитет, который вел с мандатом непрерывную борьбу и добился своего. Еврей Ольшан был признан достойным судить евреев и неевреев Палестины от имени короля Великобритании. Это достижение следовало отметить. Правда, с ивритом у Ольшана были проблемы, да и элитизм предшественника был ему чужд, но администратором он был блестящим. Пока Змора отшлифовывал одно судебное решение, Ольшан успевал закончить десяток. Считается, что, не вмешайся он в администрирование судебного делопроизводства, израильские суды погрузились бы в невероятный хаос.

Из рук юриста-европейца Верховный суд попал в руки американца. Шимон Агранат получил диплом юриста в Чикаго. Если Змора приехал в Палестину по требованию жены, то Аграната привезли сюда из Луисвилля, штат Кентукки, родители-сионисты. Биограф судьи, профессор Бостонского университета Пнина Лахав, утверждает в книге «Judgment in Jerusalem» (1997, англ.), что будущий столп израильского правосудия и главный либерал страны, проходя через таможню хайфского порта в 1930 году, пронес под мышкой нелегальный пистолет, как какой-нибудь герой голливудского вестерна. Впрочем, такое тогда было время. Это еврейский либерал из Европы приезжал сюда безоружным, тогда как американский либерализм всегда стоял за благородство с позиции силы. Вскоре судья Агранат возглавил муниципальный суд в Хайфе и настолько прославился логичностью своих решений, что спустя два года после объявления еврейской государственности был назначен одним из верховных судей.

Аграната приписывается американизация израильского правосудия. Сегодня это переводится как либерализация

общественного мышления и забота о правах человека. Но в начале его судебной деятельности в судье-американце видели, скорее, типичного голливудского шерифа, признающего за каждым гражданином, пусть даже потенциальным террористом, право на самозащиту и справедливость. С первого дня своего существования и по сей день Израиль, как государство, живет в состоянии войны или полувойны со всеми соседними государствами и с частью собственного населения. Как совместить право демократии на самозащиту с правом каждого отдельного гражданина на личную свободу и ее защиту от посягательств защищающейся демократии? Говорят, что один из самых колоритных верховных судей Израиля, Моше Ландой, как-то сказал, что свобода каждого кулака кончается в миллиметре от чужого носа. Но на самом деле ни у Израиля, ни у прочих демократий нет безусловного ответа на этот вопрос.

Шимон Агранат поступал и судил так, как это делается в США, где правят индивидуализм и здравый смысл граждан, не привыкших давать себя в обиду. Если вспомнить, что Израиль тогда управлялся социалистической коллективистской доктриной, легко себе представить, каким неоднозначным казался здесь поначалу его американо-либеральный почин.

И о следовавших за Агранатом верховных судьях можно рассказать много интересного. Люди они были необычные, и каждый внес свою лепту. Так уж повелось: у иудеев судья-шофет с самых древних времен был и предводителем, и, если надо, военачальником, но главное — тем, кто определяет общественную и гражданскую мораль.

Не все согласны, что Верховный суд Израиля должен или имеет право взваливать на себя эту миссию. Тяжелые коллизии по этому поводу возникают чуть ли не ежедневно. Мне вспоминается беседа с долгосрочным членом кнессета и неоднократным министром. Говорили о законе, который на тот момент нельзя было не принять, но который в дальней перспективе мог принести только вред. «Ничего, — утешил меня опытный политик. — Этот закон на все сто процентов „багиц“ (то есть подлежит рассмотрению Высшего суда справедливости). Вот БАГАЦ его и отменит. Знаешь, какую бы ерунду ни придумали мы, народные избранники, в конечном счете суд отменяет ее раньше, чем она успевает нанести непоправимый вред».

Эту власть Верховного суда, служащего еще и конституционным судом при отсутствии конституции, иначе говоря определяющего совместимость любого закона с основными и даже неосновными законами на базе не только буквы, но и духа закона, многие оспаривают, имея на то веские доводы. Дух закона

носится по водам, а его интерпретация зависит от людей-судей, каждый из которых, как мы видели, имеет свои особые причины думать так, как он думает, и действовать так, как он действует. Вместе с тем нельзя не подивиться тому, как при этом одна случайность уравновешивает другую, напоминая предвечного червячка Шамира, откусывающего от камня там и тут, в результате чего глыбы ложатся друг на дружку так плотно, что стена эта выстаивает вечность.

Третье-Исайя

Война Йом Кипура связана с массовым возвращением секулярных израильтян к иудаизму. Впрочем, и до той войны отношение к «мекорот» («источникам», или основам иудаизма) было почти повсеместно любовным. Даже кибуцники, все еще шагавшие под четырехпрофильным красным знаменем (Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин), трепетно относились к еврейской старине и изучали священные книги в качестве неопровержимых исторических свидетельств. Не знать источники означало не осознавать себя израильтянином.

Нарочитое пренебрежение левой интеллигенции ко всему, что имеет отношение к иудаизму, это явление более позднее и, возможно, тоже связанное с Войной Йом Кипура. Одни пришли из-за этой войны к иудаизму, другие отошли от него на расстояние, уже не совместимое не только с сионистской идеей, но и вообще с еврейством.

Говорят, каждая война обладает свойством отделять то, что было «до», от того, что стало «после». Относительно двух главных войн XX столетия это можно сказать наверняка. А для урожденных израильтян таким мироощущенческим водоразделом стала именно Война Йом Кипура.

Она началась с ощущения разгрома. Войну удалось выиграть, но сделано это было невероятным народным усилием, сравнимым с чудом. Не диво, что послевоенное смятение умов было всеобщим.

Доктор Z был из урожденных израильтян, отличился в Шестидневную и после Войны Йом Кипура кипел от негодования. Будучи человеком деятельным, он решительно включился в политическую борьбу с опозорившимся режимом рабочей партии МАПАЙ (нынешняя «Авода»). Она погрязла в беспечности и коррупции, а потому довела армию до того, что та едва не проиграла войну, похоронив тем самым сионистскую мечту.

Аргументы Z звучали убедительно, к тому же у меня были старые счеты с социализмом. Я тоже превратилась в пламенного агитатора за партию ДАШ — «истинно демократическую, антикоррупционную и центристскую». Недовольных оказалось в стране намного больше, чем преданных идее социализма. ДАШ набрала 15 мандатов. В результате Менахем Бегин смог создать коалиционное правительство с правым уклоном, впервые без участия МАПАЙ. Это было неслыханно, невиданно и казалось невероятным.

От нежданного успеха кружилась голова. Все вокруг дышало

надеждой на большие перемены. И тогда доктор Z ультимативно послал «эту русскую», то есть меня, на курс лекций профессора Йешаяу Лейбовича набираться «израилизма». Несмотря на то что данный профессор уже объявил «этих русских» отребьем, не имеющим ни малейшего отношения к евреям и еврейству.

Рассказываю я все это, чтобы подчеркнуть: тогдашняя популярность Лейбовича во многом зависела от настроений израильского общества. Он был «идолом поколения». Одни были готовы идти за ним в огонь и воду, другие считали врагом нации, подлежащим побиению камнями. Среди интеллигентной публики, голосовавшей за ДАШ, первых было больше.

Лекции происходили в тель-авивском культурном центре «Цавта». Зал был переполнен. Я сразу отметила, что аудитория состояла в основном из людей светских, хотя лектор был человеком религиозным и говорил о вещах сугубо религиозных. Этот парадокс подтверждался не раз: последователи и обожатели Лейбовича, заполнявшие городские залы и кибуцные аудитории, в большинстве своем не носили кипы, тогда как среди религиозной публики он не пользовался особым авторитетом.

Лекции, или публичные выступления (можно назвать и так, и эдак), на которых мне довелось присутствовать, были обставлены театрально. Сначала — громкие призывы к тишине. Потом приглушался свет, и на сцену тянулась цепочка прислуживавших пророку учеников, каждый из которых что-то нес: кресло, книгу, магнитофон… Между тем волнение в зале нарастало. Снова призывы к тишине, и вот из-за кулис выводили старца, одетого в то, что ветхозаветные летописцы назвали бы отрепьями пророка, а нам придется обозначить как сильно поношенный ширпотреб. Старцу под восемьдесят. Скрючен, вогнут и выгнут. Даже лицо втянуто внутрь. Из впадины торчит крючковатый нос, в глубине мерцают свирепым блеском глаза. Он гневается и выговаривает, выплевывает слова и бьет ими по щекам.

Выговаривает ученикам или залу? Хлещет невидимых противников или присутствующих в зале врагов? Как бы то ни было, действие уже началось. Более двух тысяч лет тому и пять минут назад. При перво-Исайе, второ-Исайе и снова-Исайе.

Иврит старца высок, но даже я, не особо сведущая в религиозных писаниях, немедленно понимаю, что речь идет об «акедат Ицхак», жертвоприношении Ицхака праотцем Авраамом. И что связь еврея со Всевышним вытянута по вертикали и действует снизу вверх. В середине лекции отмечаю: моему пониманию помогает не столько простота лекционного иврита, сколько обилие философских терминов и понятий. Кант, Гегель, Декарт, Спиноза — это мы проходили или читали.

Жертвоприношение Ицхака — любимый Лейбовичем пример для разбора, встречающийся почти в каждом из его философско-теологическо-политических мыслеизъявлений. Речь его — письменная и устная — великолепно построена. Интонация безошибочна и артистически точна. Мысль отточена, слова тщательно подобраны, слово к слову, ни одной лишней буквы. Удовольствие от акта слушания-чтения-внушения-понимания огромное. Я впервые ощутила то, что, очевидно, неодолимо влекло римлян к подиуму, на котором выступали Цезарь, Цицерон, Гракхи и Сципион. Или тянуло толпы иудеев к городским воротам и смоковницам, в которых и под которыми гневно вещали пророки, потом названные библейскими.

Вряд ли слушавшие этих пророков в те давние времена — или Лейбовича вместе со мной — до конца понимали, что именно говорится, а уж верность пророчеств могут оценить только далекие потомки. Но сам акт — эмоциональный, внушающий одновременное желание подчиниться и заткнуть уши, иначе говоря, сказать «сделаем и услышим» («наасе ве-нишма») именно в этом библейском порядке действий: подчинимся, сделаем, а потом услышим и, может быть, поймем — был эмоционально захватывающим событием. Толпа расходилась из «Цавты» в экзальтированном состоянии духа.

Ни размеры статьи, ни объем эрудиции в разбираемых вопросах не позволяют мне заняться подробным разбором и толкованием теологических, философских и политических писаний профессора. Ограничусь общими соображениями, отметив мимоходом, что официально он считался профессором биологии и органической химии, а не философом. Мне довелось слушать изложение Лейбовичем его достижений в области нейротрансмиттеров сердечной мышцы. В докладе не было ровно ничего драматического. Профессор обыденно бубнил, зал не менее обыденно журчал. Ничто не напоминало наэлектризованную атмосферу «Цавты» в момент сцены пророчества.

И все же первая, полученная Лейбовичем в Берлинском университете докторская степень, была именно по философии и теологии. Биология и медицина, которым он обучался в Кельне и Гейдельберге, принесли ему докторскую степень почти на десять лет позже. А родился будущий профессор в 1903 году в Риге и вырос в обеспеченной, интеллигентной и ортодоксальной семье сионистов. В школу не ходил, занимался у частных преподавателей. К слову сказать, обучался ивриту вместе с будущим сэром Исайей Берлиным, с которым переписывался до конца жизни. Приведу отрывок из письма Лейбовича к Берлину.

На мой взгляд, в этом отрывке наличествует краткое, но исчерпывающее определение жизненной позиции Лейбовича.

«Мне кажется, вы считаете меня либеральным интеллектуалом, чем-то вроде Толстого или даже пацифиста. Это не так. Ничего похожего. Я вполне за войны, когда они абсолютно необходимы. Причины моего пребывания в Израиле обыденны. Я считаю, что Господь хотел, чтобы мы жили здесь, и я хочу жить в еврейском государстве, предпочтительно демократическом. И даже в огорчительно недемократическом, если таково желание большинства. Но я не хочу жить в государстве, угнетающем арабов. Это — империализм, и он мне чужд. Я хочу жить в еврейском государстве, управляемом евреями для евреев…»

Это признательное сообщение, написанное незадолго до кончины, выносит за скобки полемические выверты Лейбовича, ухитрившегося назвать Израиль нацистским государством. Нет сомнения в том, что автор словосочетания «иудео-нацизм» сознательно искал славы парадоксалиста, хотя за пределами красного словца воззрения его вполне резонны и логичны. Правда, они выражают точку зрения, на которой стоит большинство ортодоксальных религиозных фундаменталистов любого вероисповедания, поскольку — и это ли не очередной парадокс! — Лейбович, ставший чуть ли не путеводной звездой антирелигиозной израильской левой публики, не менее экстремально ортодоксален и религиозен, чем, скажем, верховный иранский аятолла.

Его почитателей трудно обвинить в незнании или непонимании трудов и идей кумира. Профессор был первоклассным и востребованным перформером. Он выступал с шоу-лекциями по всему Израилю, пользовался услугами продюсера, имел многочисленных учеников и умело манипулировал всеми видами СМИ. Очевидно, в этом случае мы имеем дело с феноменом слухового восприятия только того, что приятно слышать. Возьмем для примера серию бесед проф. Лейбовича с проф. Равицким на тему «Вера и философия», передававшуюся по радиостанции «Галей ЦАХАЛ». Слушать радиолекции собирались не только группами, но и целыми аудиториями, что заставляет предположить либо повсеместное увлечение израильтян философией и теологией, либо гипнотическое воздействие лектора-перформера на слушателей. Основная аудитория Лейбовича — кибуцная и левоинтеллигентская публика родом из Европы — и впрямь была неплохо образована в принятом там между войнами либеральном духе и стиле. Но и перформер был отличный, этого тоже нельзя отнять.

Основные параграфы своего вероучения Лейбович выделял неоднократно. Всевышний в его понимании трансцендентен, то есть недоступен человеческому ощущению и пониманию. Антропософское толкование Его сути есть ересь. Посему человек не может и не должен занимать Всевышнего своими проблемами. Его человеческое дело — исполнять все предписания (мицвот), поддерживая, таким образом, предсозданный порядок Вселенной. Предсозданный, поскольку мир был создан по желанию Всевышнего таким, чтобы каждое действие имело предуготовленные последствия. Свобода же воли выражается в том, что мы сами выбираем пути взаимодействия с этим миром, вызывая тем самым ту или иную его, мира, реакцию. Не Создатель, а созданный Им мировой порядок вознаграждает нас за правильный ход и наказывает за ложный.

Из вышесказанного следует, что для еврея единственный правильный жизненный путь есть служение Всевышнему путем исполнения мицвот. Только тот, кто живет алахически верно, не ожидая за это награды, то есть бескорыстно, может называться евреем. И только алахическое государство имеет право считать себя еврейским. Потому: «Если государство не является государством Торы — а возможно, такое государство вообще неосуществимо и служит только вечной целью — остается служение в качестве принципиальной оппозиции…» (из упомянутой серии радиобесед). И — если придерживаться исторической парадигмы — «служить в качестве принципиальной оппозиции» означает делать то, чем занимались библейские пророки.

В своей лекции «Йешаяу Лейбович: антитеза раву Куку», прочитанной на конгрессе в рамках Института Ван Лир, проф. Равицкий полагает, что Лейбович в своей роли оппозиции власти полностью повторяет перво- и второ-Исайю: как позицию перво-Исайи, пророчествовавшего еще в еврейском государстве, сменяет противоположная позиция второ-Исайи, уже находившегося в изгнании, так и раннего Лейбовича-сиониста сменяет «поздний» Исайя, ставший внутренней принципиальной оппозицией уже оформившемуся государству.

Подчеркнем, что третье-Исайя — Лейбович даже в самых последних своих текстах настаивал на том, что ни в коем случае не является врагом еврейского государства, а, напротив, служит ему особым способом, несмотря на то что неалахическое государство не может требовать служения. Нет более четкого и философски оправданного взгляда на современное государство, если, конечно, смотреть на него с позиции радикального религиозного фундаментализма. То, как край радикального

либерализма стыкуется с крайним религиозным фундаментализмом, лучше, чем на примере Лейбовича, не объяснишь и не покажешь.

Между тем люди, близко знавшие философа-парадоксалиста, говорят, что он был приятен в общении, внимателен к окружающим и со всеми любезен. И что, нарушая — только по мелочам! — святость субботы, притворно вздыхал и пенял окружающим за якобы именно ими «подставленные» соблазны. То есть был вполне человечен, даже слишком человечен. Не исключено, что вел он себя так в назидание Ницше, поскольку любое значимое явление, встречавшееся профессору на жизненном пути, служило ему поводом для оппозиции.

Сдвиг по фазе, или Мишель Пфайффер против «Садов Сахарова»

«Миррор», газетный трест, созданный газетным магнатом Максвеллом в начале девяностых годов прошлого века, решил выпускать еще и израильскую газету на русском языке. Я редактировала приложения. Дама, приставленная трестом давать советы, как составлять правильные субботние приложения на просвещенном Западе, сетовала на подбор материалов.

— Сколько можно писать об этом Сахарове, о тюрьмах и концлагерях! — орала она. — Поставь на обложку фотографию Мишель Пфайффер и найди в антикварном магазине хорошую старую поваренную книгу. Больше твоим читателям ничего не надо!

Моим читателям был нужен как раз Сахаров. Израиль заливал поток иммигрантов из распавшегося СССР. Они не знали и не хотели знать, кто такая Мишель Пфайффер, и им было не до кулинарных изысков. Часть бежала от прямой опасности — девяностые годы XX века не случайно именуют лихими, другая — от страха перед грядущей неизвестностью, которая по старому опыту грозила обернуться еще одним террором. Ничто, кроме оставленных в спешке родных пенат, уроков прежней жизни и способов устроиться в Израиле или хотя бы перебиться в ожидании лучших времен, этих людей не интересовало.

Покойный Андрей Дмитриевич Сахаров вроде бы уже не мог ничем помочь новым израильским русским (не путать с российскими «новыми русскими»), но именно его превратили в стяг борьбы за лучшее будущее. Не СНГ и не России, а «русской алии», которую многие «старые» израильские «русские» и все ивритские СМИ стали называть «колбасной», имея в виду материальный стимул этой иммиграции. В назидание вспоминали волну иммиграции из СССР семидесятых и восьмидесятых годов, которую теперь считали сионистской, а прежде называли алией «вилла-вольво». Опять же имея в виду очевидный материальный стимул: новым репатриантам тогда предлагали хибары на выселках провинциальных городов, да еще снимали с них налог на иномарки.

«Колбасная алия» организовалась быстро. Сказались диссидентская сноровка и чуть ли не генетическая российская воля к сопротивлению любой власти. Правда, на сей раз кукиш осмелились вытащить из кармана. Появилось общественное движение, впоследствии переросшее в этническую «русскую»

партию. Эта партия и подняла имя Сахарова на щит, потребовав, чтобы в его честь назвали что-нибудь — если не город, то поселок, шоссе, улицу или бульвар, признав тем самым заслугу приехавших «русских» в падении ненавистного всему миру советского режима и их право на самоопределение в Израиле. Это желание претворилось в так называемые «Сады Сахарова» — запыленные кусты на каменистых отрогах при въезде в Иерусалим.

Сады не сады, на прогулку туда не пригласишь, зато водители автобусов по сто раз на дню объявляют: автобусная остановка «Ганей Сахаров». Большинству израильтян, родом не из бывшего СССР, это название ни о чем не говорит. Выпускай я журнал на иврите, статья об опальном академике не вызвала бы ни малейшего интереса, в отличие от фотографий Мишель Пфайффер неглиже или даже при полном параде. Объяснить такую разницу в мироощущении непросто. И новоприбывшие, и стародавние израильтяне четко ощущали несовпадение мироощущений, но причину этого явления объяснить не умели. Ни себе, ни друг другу.

Для взаимопонимания требовались не только взаимная осведомленность об опыте жизни, протекшей врозь, и нынешней вовсе не совместной жизни, но и умение разбираться в причинах и деталях тяжелого кризиса западной цивилизации, начавшегося в середине шестидесятых и достигшего к девяностым своего апогея. Сейчас этот кризис называют цивилизационной ломкой. Израиль тогда только-только вступил в фазу экономической вестернизации и культурной американизации. А Европа, не пожелавшая американизироваться, несмотря на план Маршалла, еще в семидесятых начала борьбу за культурную самостийность. Что вовсе не мешало той же Европе яростно стремиться к глобальному рынку и меркантильному либерализму, выгодному в основном США, уже отнявшим у европейцев технологическую и научную инициативу.

Американизацию тогда путали с вестернизацией. Израиль же с момента своего создания хотел принадлежать Западу, но жил по совсем другому политическому календарю. И не потому, что на его календаре и сегодня значится уже 5775 год, тогда как остальной, западный мир проживает 2014-й. Дело в том, что Израиль как национальное государство был создан почти в апогее распада национального государства как основы политической структуры западного мира. Самюэль Хантингтон напишет об этом процессе целую книгу под названием «Столкновение цивилизаций», но выйдет она, поразив мир, только года через два. А тут вот что получалось: сионисты мечтали о государстве

для евреев; создавали, не жалея сил, еврейское государство; защищали его, вымечтанное веками, от агрессивных соседей, и вдруг зазвучало: «рынок», «глобализация», «надгосударственные интересы». И не только как философские выкладки, а в качестве призыва к действию.

Правда, понятия «нужды еврейского государства» и «благо всех евреев» даже в конце восьмидесятых годов прошлого века еще считались решающим аргументом в пользу чего бы то ни было, но на первое место стала претендовать «экономическая выгода».

Так, если прежде убыточное предприятие финансировалось государством только потому, что сионистский идеал того требовал, теперь у этого предприятия не осталось шансов на существование. В результате появилась безработица, о которой раньше не упоминали. Государственные предприятия к началу алии из рассыпавшегося СССР были уже почти полностью приватизированы, но порядки на них еще только приближались к американским. Однако то, что раньше казалось само собой разумеющимся, стало неприемлемым и даже преступным, а то, что раньше казалось неприемлемым и преступным, стало само собой разумеющимся.

Переход от воинствующего сионизма к обыденному государственному существованию в рамках либеральной экономики оказался тяжелым испытанием. Наплыв иммигрантов усугубил это положение. «Старые» израильтяне с трудом привыкали к американизации, а иммигранты из стран СНГ еще и не начали к ней привыкать. В стране исхода Мавроди только строил свою пирамиду. Бывшую государственную собственность СССР еще не «распилили», и сознание алии продолжало оставаться советским. На одной из встреч с читателями меня оттащила в сторону суровая дама вполне интеллигентного вида.

— У меня есть материал для газеты, — сообщила она доверительно. — Хозяйка моей съемной квартиры владеет еще двумя квартирами.

— И что? — не поняла я сути этой драмы.

— Что тут непонятного? Людям жить негде. Значит, нужно отобрать у нее эти квартиры и раздать нуждающимся!

Бредовой идеей «отобрать и поделить» в Израиле не болели и при израильском социализме, позволившем капитализму безбедно существовать в том же экономическом пространстве. Израиль может даже претендовать на приоритет перед китайцами в изобретении смешанной социалистически-капиталистической формы хозяйствования. Так что и в долиберальные времена государственный террор не применялся. Общественный — другое

дело. Этим еврейская община была знаменита во все времена и в любом уголке света. Но, хотя социалистический Израиль с трудом привыкал к новому моральному коду, свой прежний ход мысли он уже презирал. На другой встрече — уже с ивритоязычными журналистами — на меня напала журналистка одной из ведущих газет.

— Известно ли тебе, что твои «русские» вешают своим детям ключ от квартиры на шею и те бегают беспризорными целый день! — скандировала она, выпячивая свой американский акцент и тяжелый подбородок. — Этих детей необходимо забрать в интернаты, а их родителей нужно судить за издевательство над малолетними!

Израильские журналисты местного розлива слушали, упершись взглядом в пол. Совсем недавно «дети с ключом на шее» считались израильским идеалом самостоятельного и продуктивного сионистского детства.

— Хорошо, что в свое время не отловили Ицхака Рабина, — обозлилась я, — кто знает, что бы из него выросло на тощих хлебах общественного призрения!

— Поменяем тему, — стыдливо предложил ведущий журналист, совсем недавно хваставшийся мне именно таким своим сионистским детством. Американизация нелегко давалась и ему. Но в девяностых не быть «in», иначе говоря, не следовать американскому образцу считалось не просто старомодным. Такое отставание от веяний времени пахло умственной отсталостью, а также эстетическим и этическим маразмом.

Наставники в американизации стали занимать начальственные посты и задавать тон. В газете их было несколько, и они были очень эффективны, эти мальчики «Миррора» с опытом работы в американских СМИ. Они контролировали заголовки, подчиняя их правилам современного пиара, мало чем отличающегося от логики ярмарочных зазывал, и устанавливали жесткий диктат формы, при котором количество слов оставалось неизменным, даже если при этом менялся или терялся смысл написанного. Они же пытались задавать тематику публикаций, контролировать тон издания и усердно прививали журналистское умение соблюдать нейтралитет. Газета должна была быть сбалансированной.

Одни новые правила журналистской игры мне нравились, а другие вызывали раздражение. Погрузившись в исследование того, что называли по-английски «новой журналистикой», я выяснила, что она никак не связана ни с навязываемой желтизной, сулящей экономическую выгоду, ни с дурацкой псевдосбалансированностью, не позволяющей журналисту иметь

собственную точку зрения. Еще я была за либерализм фон Мизеса и Мильтона Фридмана, но против либертанизма — жизни без правил и тормозов — и против политически корректного языка, погружавшего мир в пучину неприкрытого ханжества.

Эти сомнения и возражения были мной предъявлены ведущей фигуре тель-авивского «Миррора», редактору «Маарива» и создателю либеральной экономической газеты «Глобс», а одновременно и критику почти всех видов искусств Адаму Баруху. Он был выдающейся фигурой израильской богемы, этот Барух-Меир Розенблюм, родившийся в ультраортодоксальном районе Иерусалима Меа Шеарим, в добропорядочной и почтенной раввинской семье. Его дедом с материнской стороны был сам рабби Ицхак-Яков Вахтфогель, глава ешивы «Меа Шеарим» и главный судья (ав бейт а-дин) ашкеназской общины.

Поначалу ничто не предвещало превращения ешиве-бохера Баруха-Меира в богемного скандалиста, но превращение случилось. К моменту нашего знакомства Адам уже был знаменит — и скандалами, и ведущей позицией в журналистике, и бесшабашным поведением, и острым цепким умом, и хамским тоном при обращении к нижестоящим. По чести говоря, инициатива знакомства принадлежала не мне. Кому захочется лезть в пасть к такому зверю? Но Адам Барух считался нашим боссом, а боссов, как известно, не выбирают. Разговор происходил в его кабинете. Рабочее время уходило в состояние безвременья, за окном стояла ночь, а на столе перед Адамом — бутыль хорошего виски. Он слушал молча, периодически опустошая крышечку-стаканчик и наполняя ее вновь.

— Черт его знает! — сказал после того, как я излила душу и замолчала. — По-моему, вся эта новомодная чушь не стоит ни гроша, но нам придется через нее пройти, потому что ни у тебя, ни у меня не достанет сил встать у истории на пути. Лучше уж возглавить процесс, чем тащиться в хвосте. Так говорили древние. Ты знаешь древнюю историю? Вы, русские, все знаете. Вас хорошо учили. В еврейских ешивах тоже хорошо учат. А в израильских школах теперь учат плохо.

Услышать такое от одного из стержней израильского культурного истеблишмента — все равно что увидеть плачущего большевика. Израильтяне не позволяют себе сказать, что они в чем-то сомневаются. Возможно, знаменитая израильская «хуцпа», или «дерзость», прикрывает именно ощущение исторической необходимости защитить любые Фермопилы собственной грудью. Биографы Адама тоже отмечают его мрачное сомнение в правильности выбранного пути и разочарование в светском образе жизни. Но он считал, что был призван повернуть Израиль

лицом к прогрессу, модернизации, вестернизации, пусть даже американизации, и был полон решимости наступить на горло собственной песне.

В конце того, первого, разговора Адам бросил мне через стол сборник советской фотографии 1920-1930-х годов.

— Найди таких фотографов, и слова будут не нужны. Фотографии всё скажут, — произнес с усмешечкой. — От слов толку мало. Небрежно подобранные слова всегда вранье. А эту дуру с ее Мишель Пфайффер не слушай. Я прикажу, чтобы она от тебя отстала. Печатай, что найдешь нужным.

С высоты моего, тогда уже почти тридцатилетнего, опыта жизни в Израиле, Адам Барух выглядел фигурой невероятной. Хотя бы потому, что ставил во главу угла сомнение во всем, справедливо полагая, что именно сомнение и есть современность. Постмодернизм, последнее слово в науке, промышленности, финансах и культуре, то, чего в израильском обществе пока нет, но обязано появиться. Вместе с тем он понимал, — возможно, только интуитивно, — что свобода выбора любой точки зрения требует защиты от хаоса, и защита эта — в формализме. Поэтому одной властной рукой Адам насаждал формализм всюду, где только мог, а другой рукой столь же рьяно бил по клавишам компьютера, сочиняя статьи, защищающие творческие свободы. Порой это звучало как издевка: требуя для одних своих творческих протеже полной свободы выбора, он нападал на их конкурентов, полностью отрицая за ними вольность инакомыслия.

Впрочем, если сравнить даты статей и те или иные виды его практической деятельности в качестве редактора, администратора, куратора, можно предположить, что имел место метод тыка с подчас неизбежной отрицательной реакцией на результат. Попробовал на деле тот или иной прием или метод, убедился в том, что он не подходит, и написал об этом. Подход ультрасовременный, но не слишком популярный, особенно в период мировоззренческой ломки. Адама часто упрекали в пустословии и непоследовательности. Раздражал и резкий тон его статей. Он объяснялся столь же современным недоверием к содержанию слов. Лаконическая афористичность то ли не давалась Баруху, то ли была противопоказана его философскому подходу, требующему уточнения значения каждой буквы. Не доверяя слову, Адам стал отдавать предпочтение фотографии. Огромные газетные площади, отданные фотоснимку в центральных израильских газетах, и сегодня напоминают о революции, совершенной Барухом в этой области. Но он же написал: «Фотоснимок является великим обманщиком в культуре,

политике и фиксации действительности» («Маарив», 22.03.02). Что ж, попытка честно держаться на плаву в пучине современного релятивизма оправдывает подобные кульбиты, но надеяться на понимание менее продвинутого в современной философии населения не приходится.

Адам Барух являл собой образец израильтянина, переживающего фундаментальную ломку всех своих представлений и при этом понимающего, что из чего вытекает. Таких в то время было немного. Одна эпоха на глазах сменяла другую и подводила под собой черту. Барух, плененный российским творческим авангардом, старым и новым (он действительно был неплохо осведомлен о достижениях советского авангарда), в нахлынувшем потоке алии девяностых хотел видеть соратников и помощников, но разочаровался. Алия находилась в состоянии ломки прежних понятий, но этот кризис не совпадал по фазе с кризисом, переживавшимся в то время израильским обществом. Как говорится, имел место сдвиг по фазе. Несуразный вид «Садов Сахарова», садами не являющихся, Адама мог только рассмешить. И «русские» этого бы ему не простили. Между тем академик Сахаров в этой истории был совершенно ни при чем. Как, впрочем, и Мишель Пфайффер.

Еврейский Камелот

Недавно хоронили Арика Айнштейна, 74-летнего израильского эстрадного певца. Делали это по высшему разряду, поскольку отдавали земле национальное достояние. При этом оплакивали не только приятный баритон исключительно вкрадчивого тембра, лившийся как бы из одной души в другую, а весь «прежний Израиль», «истинный Израиль», «Израиль, которого больше нет».

Что это за Израиль? Смотря для кого. Для аборигенов — скорее всего, Израиль без пришельцев. Для ашкеназов — ашкеназский вариант еврейской общности. Для противников американизации — Израиль Бен-Гуриона. А для многих других — придуманный «русский Израиль». Не тот, что связан с иммиграцией семидесятых-девяностых, а тот, который пел «Катюшу» за праздничными столами, боготворил 28 героев-панфиловцев, воспитывал детей по Макаренко, вел себя в развязной «русской манере», носил косоворотку и сапоги, несмотря на жаркий климат, и мечтал о справедливом и просвещенном обществе. Разумеется, без зоны, большой и малой, и, уж конечно, без расстрелов и конфискаций.

Думаю, что имелся в виду еврейский рай, в котором нет антисемитов, евреям разрешается находиться на любых постах и заниматься любым делом, но при этом интеллигенция, будучи на командном положении, вытравит из сознания масс пережитки штетла, тогда как еврейский капиталист станет заботиться о еврейском пролетарии и оба они вместе — о благе родной страны. Ну а кот ученый будет ходить под этим раскидистым клюкво-дубом, распевая песенки и сказывая сказки. На иврите, само собой, но с учетом того, что слушателями могут оказаться дети — новые евреи, не познавшие яда антисемитизма, взращенные общим усилием нации, физически крепкие, светловолосые, прямоносые и чубатые, полная противоположность антисемитской карикатуре.

Арик Айнштейн родился в Тель-Авиве. Он был очень высок, белокур, прямонос и широкоплеч. Бегал быстрее всех, толкал ядро дальше всех, прекрасно забивал голы и лазил по деревьям. Если бы не сильная близорукость, быть бы ему капитаном армейской баскетбольной команды. Но ввиду упомянутого физического недостатка, понуканий папы-артиста и прорезавшегося сладкого баритона парень попал в армейскую самодеятельность, откуда на большую сцену вел наезженный тракт. Правда, жизнь израильского артиста никак не напоминала

райские кущи. И вообще не нужно путать идиллический Израиль, существовавший только в головах, с реальным социалистическим Израилем, в котором было не много симпатичного.

Сегодня мы бы не стали называть коррупцию протекцией или величать авторитарную власть отеческой заботой, а тогда это было принято и не раздражало. В Израиле, как и в СССР, членам правильной партии жилось лучше, чем не-членам этой партии, и уж, без сомнения, гораздо лучше, чем членам неправильной партии, но считалось, что в стране царит полная демократия. Кому жилось хорошо в этом социализме, представить себе легко. А плохо… Ну, плохо в разной степени жилось всем остальным, но граждане правильной ориентации предпочитали полагать, что живется им не так уж дурно. При этом русский акцент требовался только в «Габиме», главном театре страны. В чиновных и торговых делах предпочитался румынский или польский выговор, в академии — немецкий, а в армейских кулуарах — французский и позже американский.

Арик Айнштейн не только пел, но и снимался в кино, выступал на телевидении, а также пародировал и высмеивал со сцены и с экрана. С пороками государственной системы он не боролся, ограничиваясь бытовой проблематикой. Еще он был страстным спортивным болельщиком и большим знатоком всех израильских спортивных достижений.

С мамой Арика, Дворой Айнштейн, я была поверхностно знакома по медицинским делам. Насколько помню, она говорила как раз с легким польским акцентом. Сам Арик очень следил за своим произношением. И за моим тоже. Мы виделись несколько раз по делу, но подхода друг к другу не нашли. Арик то и дело выправлял мой русский акцент, что обычно вызывает у меня яростное сопротивление. Акцент — это часть моего «я», и нападать на него никому не позволено. А Арик был аборигеном во всех смыслах и не привык считаться с потаенными чувствами пришельцев, травмирующих его родной язык. Вел он себя, как чванливый римский патриций при встрече с перегрином-плебеем. Есть мнение, что подобное отношение к людям не из его среды было вызвано все той же крайней застенчивостью. Возможно, конечно, но взрослым и цивилизованным людям свойственно контролировать и эту, не вполне приемлемую в зрелом возрасте, черту характера.

По праву рождения Арик с детства принадлежал к «банде» богемной тельавивщины, по-своему управлявшей пляжами, кинотеатрами, бассейном «Гордон» и несколькими спортзалами. А еще — неглавными театральными подмостками и студиями-однодневками, продюсировавшими фильмы, концерты,

постановки, музыкальные альбомы и поэтические вечера с песнопениями. Все это было низкобюджетным, вечно прогорающим и тут же восстающим из пепла высоковольтным предприятием, потребляющим и выделяющим огромное количество энергии.

Израильские фильмы конца шестидесятых и начала семидесятых хорошо передают особенности этого поколения отвязных молодых тельавивцев, среди которых сегодня еще можно насчитать много здравствующих и уже — увы! — покойных знаменитостей. А в поздние шестидесятые им всем было чуть больше двадцати или под тридцать, и они делали все, что запрещается делать в «приличном» обществе. В тот период Арик не прятался ни от славы, ни от людей. Появлялся, окруженный шумной толпой, и не брезговал словами, которые газетчикам приходилось заменять многоточиями.

Потом вдруг все перевернулось вверх дном. Самый громкий голос «банды» и ближайший друг Арика, актер, пародист и анфан террибль израильской богемы Ури Зоар ушел в религию. Религиозными стали и первая жена Айнштейна с двумя его дочерьми, а сам он превратился в затворника. И хотя певец относил эту перемену на счет якобы болезненной стеснительности, проявившейся так поздно, что поверить в нее непросто, вокруг этих событий до сих пор носится душок пенитенциарности. Не оставляет ощущение, что бывшие смутьяны, охальники и возмутители израильского спокойствия за что-то сами себя наказали. Не стану предлагать версии, поскольку к теме статьи это не относится. О перипетиях творческой судьбы Арика Айнштейна сказано много во всех СМИ, но меня интересует только факт массовой истерии по поводу его кончины, сопровождаемый публичным зажиганием свечей, рыданиями девиц, никогда не видевших этого артиста живьем, и особым вниманием журналистов.

Арику предоставили честь быть похороненным на одном из последних мест старого тель-авивского кладбища, где покоятся почти все, давшие название тель-авивским улицам, площадям, бульварам и переулкам. Во время похорон кладбище было запружено народом, и дикторы повторяли опять и вновь, что земле предается «весь старый Израиль». Еще они утверждали, что «весь старый Израиль» присутствует на церемонии. Вот бы переписать всех присутствовавших, проанализировать данные и узнать, наконец, что же это такое — «старый добрый Израиль».

Отмечу, что вскоре после приезда в Израиль, а было это в 1971 году, у меня был ответ на этот вопрос. Не статистически выверенный и не сформулированный согласно тем или иным

путеводным теориям, а чисто интуитивный. Согласно этому ощущению, «старый Израиль» состоял из всего, чему требовалось поклоняться, что следовало почитать и не разрешалось трогать руками. Нас, пришельцев, и аборигенов разделяла невидимая стена, которую нельзя было разрушить ни дружбой, ни женитьбой/замужеством, ни даже подвижничеством и героической гибелью.

«Старый Израиль» уважал Трумпельдора и Вингейта, но почитал и ставил во главу угла Моше Даяна и Арика Шарона, потому что они были «свои». И считал, что израильские ВВС начинаются не с еврейских пилотов, примчавшихся из разных стран спасать нарождающееся еврейское государство и положивших за него голову, а с Эзера Вейцмана и Бени Пеледа. Работавшей со мной медсестре, семья которой гордилась своей палестинской родословной в три поколения, так и не простили того, что она вышла замуж за приезжего «москаля», пусть и ставшего известным судьей. И моя лучшая подруга, израильтянка в пятом поколении, честно предупреждает, что есть вещи, которые мне не понять, поскольку я не родилась здесь и являюсь «нетулат синхрун», иначе говоря, не наделена возможностью петь с ней в унисон.

Ну, хорошо, примем за неизбежность тот факт, что полностью разрушить стену между аборигеном и пришельцем в принципе невозможно. А нужно ли? Все мы аборигены одного места и пришельцы в другое. Во время совместной поездки в Россию мне приходилось не раз и не два устранять недоразумения, в которые попадала та самая лучшая подруга, совершенно лишенная умения петь в унисон с наглым бомбилой, озверевшим гибэдэдэшником, хамоватым поэтом и сильно хмельным дипломатом. Но есть небольшая тонкость: не все аборигены вписывались в свое время в идиллический Израиль, который, согласно мнению СМИ, похоронили на старом тель-авивском кладбище вместе с Ариком Айнштейном. Вот Мири Регев, ныне член кнессета, а прежде дипломированный управленец и бригадный генерал. Она если и была на этих похоронах, то вряд ли по зову сердца. Между тем Мири родилась в Кирьят-Гате в 1965 году, на пике популярности Айнштейна. Но он не ее герой. А все потому, что Мири вышла из «шхунот» (микрорайонов, что ли?) или так называемого «второго Израиля», о чем ей не стесняются напоминать носители и носительницы хорошего тона и либеральных взглядов.

«Второй Израиль» тоже частью аборигенный, но его не хоронят. Напротив, он здравствует и управляет, царит на песенно-танцевальной сцене и предписывает выделение себе двойной порции общественного пирога. Не столько за заслуги, сколько в

погашение былого долга. «Второй Израиль» считается неашкеназским, но это не обязательно так. Тут важно желание причислить себя к тому или иному коллективу. В «шхунот», то есть на периферии больших городов и в недоразвитых городках развития, где царят бедность, серость, скука и тоска по невозможному, живут представители самых разных иммиграций и их дети и внуки, родившиеся уже в Израиле. Примерно две трети из них иммигрировали из арабских, африканских или азиатских стран, но остальные — ашкеназы. Среди тех и этих есть меньшинство, ассоциирующее себя с идиллическим Израилем, у которого «сефардская революция» семидесятых годов и «русская революция» девяностых вырвала бразды правления.

Но отнять власть и уверенность в себе у тех, кого называют «элитами», нельзя. Ни в Израиле, ни в каком-нибудь ином месте. У власти есть два свойства, отмеченные в разных исторических ситуациях. Во-первых, власть не дают, а берут. Вернее, подбирают, потому что, согласно второму правилу, власть нельзя забрать силой. Тот, кто владеет властью, должен выпустить ее из рук. Если он этого не делает, власть по большей части остается при нем. В современном мире можно привести в пример египетского Мубарака, бессильного старика, который выпустил власть из рук, и малосимпатичного сирийца Асада, у которого хватило сил и воли не разжимать пальцы. Исходя из этого, я думаю, что «старый добрый Израиль», в котором считалось неприличным запирать двери, хотя тюрьмы никогда не пустовали, просто понял в одночасье, что его нет и не было. И потерял силу. Поначалу силу веры в себя и свою правоту, а затем и власть.

Кстати, Арика никак нельзя обвинить в нелюбви к выходцам из арабских стран. Он первым вступился за группы протеста типа «Брейра тивит», сотрудничал со многими музыкантами-неашкеназами и наверняка дружил с некоторыми из них. Принадлежность к идиллическому Израилю это даже предписывала. А фантазия на тему идеального еврейского государства, живущего, как сказочная страна Камелот, по законам рыцарского братства, не может считаться напрасной. Пройдет совсем немного лет, и эта идиллия станет всеобщей парадигмой золотого века еврейской государственности, которую будут считать своей и потомки «элиты», и наследники поколения «шхунот», и израильские «русские», вошедшие составной частью в нынешний, «третий» Израиль, и те, кто придет после них. Похоронить идиллию невозможно, поскольку по законам жанра фаза золотого века с течением времени переходит из прошедшего времени в будущее.

Врач, писатель, журналист, публицист, Анна Исакова пишет на иврите, английском и русском почти для всех израильских СМИ, включая газеты, журналы, альманахи, радио и телевидение. Работа советника по интеграции при премьер-министре Израиля Эхуде Бараке заставила ее под другим углом взглянуть на страну и людей. Часто ее взгляд на затрагиваемые проблемы отличается от взгляда рядового израильского журналиста. На основе огромного жизненного опыта написаны статьи, первоначально печатавшиеся в журнале "Лехаим" и составившие содержание ее новой книги.

9 785995 303459

THE CHAIS FAMILY LIBRARY
OF JEWISH THOUGHT